Елена Семеновна Чижова
Время Женщин



Елена Чижова

Время женщин

Моим бабушкам

Мое первое воспоминание: снег... Ворота, тощая белая лошадь. Мы с бабушками бредем за телегой, а лошадь большая, только почему-то грязная. А еще оглобли – длинные, волокутся по снегу. В телеге что-то темное. Бабушки говорят: гроб. Это слово я знаю, но все равно удивляюсь, ведь гроб должен быть стеклянный. Тогда бы все увидели, что мама спит, но скоро проснется. Я это знаю, только не могу рассказать...

В детстве я не умела разговаривать. Мама водила по врачам, показывала разным специалистам, но все без толку: причины так и не нашли. Лет до семи я молчала, а потом заговорила, хоть сама этого не помню. Бабушки тоже не запомнили – даже самых первых слов. Конечно, я их спрашивала, а они отвечали, что я всегда все понимала и рисовала картинки – вот им и казалось, будто я с ними разговариваю. Привыкли отвечать за меня. Сами спросят, сами и ответят... Раньше мои картинки лежали в коробке. Жаль, что они не сохранились: тогда я бы все вспомнила. А так не помню. Даже маминого лица.

Бабушка Гликерия говорила, что у нас была фотография, маленькая, на паспорт, а потом ее потеряли, когда заказывали портрет. Железный, для кладбища. Он тоже пропал. Может быть, отчим так и не собрался съездить, а Зинаида выбросила – как и мои картинки.

Я еще долго не любила зиму: тревожилась, когда падал снег. Думала о маме... Мне казалось, ей очень холодно – в летнем платье... Потом это прошло, но тревога осталась, словно в детстве, которое стерлось из

памяти, было что-то страшное, о чем мне уже не узнать...

I Мать

Лук крошу, а сама киваю: старухам виднее – пора так пора. А чего скажешь? Строгие. Где уж мне против них?..

Прежде-то нажилась в общежитии, в тесноте, да не в обиде – комната на восемь коек. А нынче – вольно... Спасибо месткомовским. Зоя Ивановна так и сказала: «Чего уж теперь... Разве дите виновато? Родила так родила – обратно не пихнешь. У нас ведь как? Мать всему голова: и напоит, и накормит. Ну и что – без мужа? Нынче и таким помощь и почет. У Сытина, мастера с шестого, прибавление: двое у них теперь. Значит, отдельная двухкомнатная полагается. Вот и вселяйся на их место».

Девять с половиной метров – сама себе барыня. Вот бы мать-покойница хоть одним глазком...

Им-то чего: «Не ты первая, не ты последняя. И помни: ребеночек наш, заводской. Значит, общий. Для власти падчериц нету. Так что не сомневайся: ясли, сад, подрастет – лагерь. Да и ты, небось, не одна – в коллективе. А вот таишься зря. Не ветром же надуло. Таких кобелей, да мигом в ежовые рукавицы!»

Смолчала. Больше не спрашивали.

Думала, хорошо, что город. Вон их – ходят по улицам. Тыщи и тыщи.

Не то что деревня. Там бы прознали – все мужики наперечет...

Если б с завода, может бы, и открылась... Зоя Ивановна больно ласкова. А так – чего скажешь? Только имя и знаю. Ни адреса, ни фамилии...

Евдокия бровью повела:

– Масло постное кончается.

Гляжу, куда там... Кончилось. На самом дне остатки. Пьют они его, что ли? На той неделе брала.

– А лук-то?.. – оглядываюсь. – Обжарить ведь надо.

– Так ты, – учит, – на маргарине обжарь.

Сам красивый был, статный. А не поймешь его. Выражался чудно? – по-городскому.

«Вы, – обращается, – девушка, давно ждете?» Кивнула, а сама молчу: неловко с незнакомым. Вроде и вежливый, а все равно. Постоял-постоял, снова спрашивает: «Это вы к Деду Морозу собрались?»

«Как это?» – даже удивилась.

«А мешок у вас, – кивает, – вместительный. Для подарков?» Смешно мне стало. «Какие, – улыбаюсь, – подарки! На рынок, за картошкой». Тут он брови поднял: «На рынок? – переспрашивает. – С мешком?»

«Так, – объясняю ему, – воскресенье. На всю комнату взять». – «На комнату? – головой качает. – А как же – на прихожую? Голодной останется? Или комната у вас добрая, поделится со всеми?..»

Тыльной стороной смахнула луковые слезки. Улыбнулась тайком.

Мешаю, мешаю... Все ж таки плохо на маргарине. Брызгает во все стороны. Руку всю ошпарила. Евдокия и тут наставляет:

– Мылом хозяйственным помажь.

Постоял-постоял, к фонарю пошел. А ноги длинные, как у журавля.

Ходит, притопывает. На часы глянул: «И сколько ж нам ждать?» Терпения у него нету, замерз, видно. И ботинки тоненькие, на рыбьем меху. «Да скоро теперь, – утешаю. – Я вон давно стою...»

«Не-ет. Гиблое это дело, – оглядывается. – Стоим-стоим, а народу никого». – «Так спят же». – «Спят? – переспрашивает. – Правильно. Вот и мне бы так, дураку...»

Да уж, думаю. И лицо какое-то мятое. Видать, гуляли всю ночь. А перегаром не несет. Наши мужики как с вечера выпьют, прям до обеда перегар.

«А вы, – с духом собралась, – рано-то... Тоже, видать, по делу?» – «А как же... – глаз прищурил. – Проснулся и – на рынок. За картошкой». – «Ой!» – обрадовалась. А он оглядел меня и говорит: «Удивляюсь я, девушка. Вы что ж это, в Америке учились?»

«Почему, – напугалась, – в Америке? В деревне. Малые Половцы?». Брови свел: «В нашей, – уточняет, – в советской? А главного не помните: куда коллектив, туда и я».

«Какой коллектив?» – совсем сбилась. «А мы с вами? – смеется. – Граждане, собравшиеся на остановке... В сложившихся обстоятельствах предлагаю взять такси...»

В гости к себе привел. Квартира большая, просторная.

«А где же все?» – спрашиваю. «А все, – говорит, – на даче. В смысле, предки».

Как же это, думаю, на даче? Зима ведь...

«А где же, – оглядываюсь, – соседи?» – «Увы, – руками развел. – Этого добра не держим. Живем, как при коммунизме».

Зашла. И правда. Богато живут. Стол письменный, книжки по стенкам расставлены. Над диваном мужик бородатый. Кофта на нем вязаная. Висит в рамке. «А это кто ж?» – «Да, – рукой махнул, – есть тут один». Может, догадываюсь, тоже из предков. Под бородой разве поймешь...

Посидели, кофе сварил. Чашки тонкие, белые, прямо пить страшно. Не дай бог ручка отломится. «Сахар, – подвигает, – клади». Глотнула, прямо сморщилась. Две ложечки положила, а все равно горько.

«Черный кофе, – говорит, – на любителя. Распробовать надо. А ты не горюй, привыкнешь». Глоточек отпил, отставил. Сам-то, видать, не больно привык...

И вина ведь не пили, а я будто пьяная. Голос его слушаю. Не знаю, как и случилось... Видно, затмение на меня нашло...

Ящик дернула, нащупала терку. Теперь морковину потереть... Лук шкварчит, шкварчит... Выключила конфорку. А рука-то ноет. Воду отвернула – сунула под кран...

На неделе в кино позвал. А я и рада. Девкам нашим завидовала: парочками гуляют. «Ко мне, – объясняет, – нельзя. Предки с дачи примчались. Наслушались радио». Сам хмурый какой-то.

Приходим, а там комедия. «Карнавальная ночь».

«Вот хорошо, – говорю. – Нашим всем понравилось». Пожал плечом.

Из кино выходим. Я-то радуюсь, а он – туча тучей. «Что, – удивилась, – не понравилось? А мне – прямо очень... Вот нам бы так... Хорошая у них жизнь, как в сказке».

«Кончились сказки, – усмехается. – Про Венгрию слыхала?..» – «Про какую Венгрию? По телевизору, что ли? Так знаю. На политинформации объясняли: враждебные элементы... Против нас чего-то надумали. И чего им там не живется?»

Гляжу, а у него рот дернулся – как плетью ожгло. Глаза мутные – не мертвые, не живые. Будто рыбьи. Рукой махнул, пошел...

Побежать за ним?.. А сама стою. Так и стояла, пока не скрылся...

– Ой, забыла! Я ж вам – постного сахарку.

Это они любят. Цветной, самодельный. Распустишь с вареньем, постоит, схватится – вроде карамели. Ножом поддела. Пусть клюют.

Так-то всегда с колотым. Не дай бог песок подать. Щипчики маленькие, блестящие. Старинные. Теперь таких нету. Колют звонко, меленько. Возьмут кусочек и – в рот. Прихлебнут и сосут. Раньше думала, жалеют. Что ж, на сахар не заработаю? Нет, отвечают, так вкуснее. И девку, поди ж ты, приучили. Сахарницу придвинешь – отодвигает...

Въезжала, девки стращали: «Как еще уживешься, с соседями!» В общежитии-то свои. А тут – чужая, деревенская, с дитем. Поди, говорят, с женой Сытинской посоветуйся: может, чего дельное скажет.

Нашла ее. «Ты, – говорит, – старух не бойся. Главное дело, поставь себя: пусть не думают, что хозяйки. В кухне мое место займешь – я хорошее отбила, у окна. А так, если что, возьми да прикрикни: по углам и расползутся. Жалко, мужика у тебя нету – моего-то боялись...»

Въехала. Ничего, тихие старухи. А все равно боязно. Сытина-то баба здоровая, поперек себя шире. Гаркнет, хоть святых выноси.

Первое время тишком старалась. Утром в одеялко закрутишь, коляска под лестницей – на замке. Замок тяжелый, на цепочке. Коляску завод подарил, замок сама купила – в хозяйственном. Вниз – бегом, замок отопрешь, под матрасик на дно засунешь и наверх – за ребенком. Погрузились и – метель, не метель – в ясли. Бросишь нянькам – и на работу. Ясли свои, заводские. Все одно – душа болит. Бывало, надо во вторую, мастер попросит. К ночи приходишь – нянечка дежурная. Разбудит, замотает, принесет. Все бы ничего – хворать стала. Зоя Ивановна утешала: «Все дети болеют, и твоя отболеет».

Ясли на балансе – завод персоналу доплачивает. Да и мамки к праздникам носят – кто конфеток, кто чулки. Носить-то носила, а как спросишь? Грудничков много, а нянька одна. То мокрая наорется, то животик схватит. Умаялась с больничного на больничный. И выписывали, конечно, по среднему: разве сравнишь, когда с выработки.

Сперва ничего. Температура подымется, лекарства накапаешь. День-другой, и спадает. Потом уж судороги начались. Посинеет, закатится вся. Глаза мутные, белые. Всё, сердце замрет, кончается. Решилась в деревню отдать. Мать еще жива была. Тут старухи и явились. Легли костьми.

У самих – никого. Мужья-дети сгинули, поумирали. И внуков нету. Иди, говорят, работай. Неужто не вырастим втроем?

Так и повелось: сама на работу, с работы – по магазинам, там отстоять, тут отстоять, и дома вроде прислуги. Постирать на всех, убрать, сготовить. Пенсии у них – слезы. Свои приходится докладывать. Зато дите как принцесса. Почитай, три няньки на одну – и присмотрена, и причесана. Гуляют, книжки читают. Учат, кому сказать, по-французски.

Девка умная – одно слово, городская. Картинки всё рисует. Буквам в четыре года выучилась. Понимает все. Только не говорит. Пять лет, шестой, а все молчком.

Так ведь сама и виновата. Молчала до последнего, пока живот не полез. Беременных-то у нас переводят. Принесешь с консультации справку, заберут из вредного. Кого в уборщицы поставят, кого на склад. Мужним – что? Они в своем праве. А тут – как признаешься? Стыд...

Раньше, до указа – ни-ни. Не убереглась – рожай. Да девок наших разве удержишь – чуть что, тайно избавлялись. Одна, говорили, прямо заладила. Мужики смеялись: вот паразитка, цельную бригаду извела. А ей хоть бы что – отлежится и опять за свое. А две, рассказывали, померли. Вроде заражение крови. Указ-то вышел – теперь пожалуйста: ходи хоть каждый год. Страшно, конечно: по живому режут. Да делать нечего – решилась.

В больницу пришла, а доктор: «Поздно. Срок большой. Теперь рожай».

Таблеток в аптеке купила. Выпью, думаю, может, скину. Неделю пила. Куда там...

Три года исполнилось, повела в поликлинику. Докторша рот смотрела, картинки на столе раскладывала. Так, говорит, все нормально. Слышит. Понимает. Это у нее задержка развития. Ждать надо – может, заговорит.

Сказала, профессор есть в Москве. Ехать, снова деньги. А где ж их взять, думаю? И так от зарплаты до аванса...

По первости плакала все: ох, вырастет уродом... Ни в школу, ни в лагерь. А главное, без семьи. Кто ее замуж возьмет – немую? Век прокукует пустоцветом. Разве что немого найдет, себе под стать.

Старухи, спасибо им, утешали. На все божья воля. Придет время, заговорит. А бывает, идешь по улице. Кругом дети чужие – разговорчивые. Сердце кровью обольется. Отвернешься, слезы сглотнешь.

Старухи наставляют: там, на работе-то – молчи. Спросят, отвечай: хорошо все. У людей языки длинные, дурные. Все беды от языков. В глаза посочувствуют, а меж собой, кто их знает? Ославят. Оговорят.

– Щи кислые будете?

Будут. Суп полезно. Вчера хороший кусочек взяла – в гастрономе, на площади. Грудинка. Это они любят, с жирком. А то еще с косточкой. Хорошо, когда мозговая. «Мозги, – велят, – ребенку выбей. Мы уж чего...»

– В тазах у меня... Там, в углу. Бельишко замочено. Теперь уж вечером постираю, после смены.

Про старух ведь так и не знают. Сказала: мать выписала из деревни, она и смотрит. Зоя Ивановна тоже спрашивала. Нет, говорю, дома не болеет. А она: пока ясельная – ничего, подрастет, в садик надо – в коллектив. Дескать, в школу пойдет, трудно будет. С непривычки. Подумала-подумала, может, и вправду с детьми-то свободнее. Разыграется, разговорится. Старухи не дали. Пусть, говорят, дома. Успеет намучиться. Теперь вот новое удумали: в театр.

На елку, что ли, спрашиваю? Так я взяла. Билетики в цеху раздавали, всем детным. Вынула, показала им. Сбоку талончик на подарок: Дед Мороз конфетки выдает, сласти всякие, вафли. Мороз Морозом, а завод, конечно, доплачивает. В цеху говорили, хороший. И шоколадка вложена. Мы-то не покупаем. И понятия такого не имеет. Когда батончиков соевых,

когда карамелек...

Поглядели: нет. За подарком сама сходишь. А *она* не пойдет. Ей в другой – в Мариинский. И билета не надо – так пропустят. Там у них товарка знакомая. Вместе в церковь ходят. И проведет, и посадит, и присмотрит. Тоже одинокая: ни детей, ни внуков.

Костюмчик купить велели: шерстяной, китайский. Кофточка на пуговицах, рейтузики и шапка. Все дети, говорят, носят. Дорогой, поди, рублей шесть. И ленты в косы. Шелковые, под цвет.

Может, капроновых, спрашиваю. Нет, говорят, нельзя. От капронов концы секутся. Дома-то с вязочками ходит. Вязочки мягонькие. Бабки из старых тряпок рвут.

* * *

К раннему чаю собирались на кухне. Тут, пока дите не проснулось, решали все важное – строили планы. День открывался затемно, как долгий век. Дневное время, дальняя дорога, катилось с оглядкой на полосатые версты – раз навсегда.

В девять – встать, одеться, умыться. В десять сказка по радио. В два часа – обед. После обеда тихий час: спи, не спи, а полежать надо.

Меж верстами, в зависимости от погоды, занимались делами. Важнейшее – прогулка. Тут время не суетилось: подчинялось годовому кругу – по-деревенски.

В скверик у Львиного мостика ходили по весне. Весной в садах слякотно – закрывают на просушку. К Никольскому – осенью: под дубами, у ограды, полно желудей. В октябре облетали клены. Ходишь, шуршишь листиками... К ноябрьским – первый снег.

Зимой – тоже к Николе, или в Солдатский садик. Горка высо-окая... Дети в очередь съезжают – кто так, кто на санках. Санки-то есть. Старые, хорошие. Да свою-то не больно пускали. И гулять приучились в сторонке, подальше от людей. С чужими детьми – беда: «Ой, а девочка ваша что – глухонемая?» Летом свободнее – кто в деревню, кто по лагерям.

Тут, за столом, едва получив ребенка на руки, пришли к согласию: первым долгом – покрестить. Тайком, не докладываясь матери. В этих делах мать – сторона. Слава богу, в Никольском звонарь знакомый. Сам глухой, а все понимает. Согласился переговорить с батюшкой, позвать на дом.

По метрикам значилась Сюзанной. Имечко басурманское, прости Господи. В прежние времена срамных девок кликали, чтоб заступниц святых не позорить. А теперь мать родная выбрала – кличку собачью...

Думали-думали, листали Святцы. Имен хороших не счесть, но первое попавшее не выберешь. Отец Иннокентий сказал: ищите сообразно метрике. Хоть по смыслу, хоть по заглавной букве.

Гликерия чего надумала: может, говорит, Серафимой... Нет. Решили в честь Софии.

Вечерами, при матери, избегали по имени: *ей,* для *нее, она* . Днем обращались ласково – Софьюшка. Меж собой – Софья.

Батюшка спрашивает: может, среди вас Вера есть, или Любовь, или Надежда? Ее бы и хорошо в крестные, чтобы Ангела вместе праздновать. Головами покачали: нету. Ни Любови, ни Надежды, ни Веры. Пока решали, чуть не перессорились. Крестная, конечно, одна. Она и перед Богом в ответе. Крестная – родня, а другие, выходит, кто – чужие? Отец

Иннокентий примирил. Бог, говорит, со всех вас по очереди спросит. Которая первая пред Ним предстанет, той первой и отвечать.

И смех и грех: болячками стали мериться. У кого сердце больное, у кого ноги еле ходят. Отец Иннокентий говорит: человек сроков своих не знает. Бывает, Господь молодых-здоровых прибирает, а старых-больных не трогает. Разве проникнешь в Его замыслы? Согласились. Вспомнили молодых-здоровых. Своих.

Рубашечка крестильная у Евдокии Тимофевны нашлась. Долежала в комоде эва с каких времен. От Василия, сына старшего. Его уж и кости истлели, а рубашечка жива.

Материя тонкая, невесомая: ангельское облачение. Кружева вот только слежались, будто палое перо. Внуку не пригодилась. Сын с невесткой не дали: у нас, дескать, своя вера.

Сын-то в начальники вышел. «Я, – гордился, – нынешним не чета. С самой Гражданской с большевиками».

Тайком побоялась. Жизни их навредить.

Новую жизнь, смеются, строим, а вы, мамаша, норовите. Тащите в царское прошлое. Вроде на обратную дорогу. Нету пути обратного, а религия ваша – опий.

И чего выдумывают? Опий-то в аптеке продается – выписывают, когда от боли. И невестка – туда же. Вы, мамаша, вокруг себя оглянитесь. А мне, говорю, поздно оглядываться. Вы и оглядывайтесь. Вам этой жизнью жить. Не успели оглянуться, пришли за ними. Так и сгинули – в своем коммунизьме. Спасибо, хоть внука не забрали: *та* бабка взяла.

Месяца два прошло, на Троицу: гостинец припасла, поехала. Улучила минутку, пока мальчонка на дворе бегал, завела разговор. Давай, мол, хоть вместе сходим. Нехристем вырастет. Грех-то какой. Та напугалась: «Что ты, что ты! Прознают, мигом придут. В детдом ведь закроют. Там и сгинет».

Она и повезла в эвакуацию. Разбомбили их под Лугой. Значит, первой пред Ним предстала – ей первой и отвечать.

Рубашечку приготовили, постирали. Кружева ветхие – разложили на полотенце. Пока стирали, побелели вроде. А высохли, все одно – желтизна. Прокипятить бы... Да тоже побоялись: жизнь прошла – расползется в руках.

Водички согрели заранее. Батюшка говорит: ну, решайте и девочку свою облачайте. Принесли, надели на Софьюшку. Евдокия как стояла, лицом помертвела: легко ли сына-младенца увидать воскресшим... Потом ничего, совладала с собой. Только нельзя, говорит, мне в крестные. Как погляжу на рубашечку, душа чернеет. Ты уж давай, Ариадна. У тебя все – слава богу: муж – на Первой, сын – на Второй, внуки с невесткой в блокаду померли. Все по-людски.

Где ж, отвечает, по-людски, если во рвах лежат. Пусть уж Гликерия: она не рожала. Граф ее, муж невенчанный, от революции сбежал. Кто его знает, может и теперь живой.

Ладно, решили. Ариадне виднее. Куда нам за ней... Образованная. По молодости и за границей пожила.

Гликерия – восприемницей, обе другие за батюшкой подтягивают. Отец Иннокентий говорит: тихо пойте, чтоб никто не услышал. Кому слушать-то, отвечаем, нет никого.

Отслужил хорошо, не пропускал, не частил. Софьюшкаумница глазками моргает, прислушивается внимательно, будто понимает.

Только раз расплакалась, когда Гликерия отрицалась бесов. Евдокия на Ариадну глянула, будто полоснула ножом.

Сели чай пить. Батюшка улыбается: грешен, говорит, чаевник отчаянный. Люблю душу побаловать – с сахарком, да вприкуску. Самовары ведерные вспомнили. На конфорках не то. Кипяток жидкий выходит, без вкусу. В самоваре густо кипит.

К причастию, говорит, сами глядите – как получится. Ничего, отвечаем, теперь-то что, принесем.

* * *

Погодка хорошая. Морозно, сухо. Чуть потеплеет – самое время гулять. Во двор выглянули – белым-бело. А дворника и не видно. Раньше, бывало, до рассвета с лопатой выходит. Нынешние совсем разбаловались. Посидели, старое повспоминали.

Ариадна первой опомнилась. В кладовку пошла, чулочки сухие снять. Евдокия за кашей направилась: мать с ночи сварила, сунула под подушку. Из-под подушки каша рассыпчатая. Гречинка к гречинке. Другую и не станет: ни манную, ни овсянку. Евдокия ворчит: в садах-то что попало суют. Греча – дорогая, еще и достань поди. Хорошо, Антонине на производстве выписывают. По два кило в месяц: на саму и на ребенка.

Ариадна одела, вывела. Софьюшка приучена – сама к крану идет. Гликерия с ковшиком наготове. Летом в трубах тепленькая. А зимой греть приходится, чтоб на ручки слить.

Евдокия командует: ну, отдыхайте. Пусть ребенок в спокое поест.

Поела и – за чай. Попила, чашку отставила. Креститься, боже упаси, не учим. Матери опасаемся. Вдруг увидит.

После завтрака Гликерия за пяльцы сажает. Шить-то рано, а вышивать – в самый раз. И гладью, и узелком, и впередиголкой. Утренний урок – лепесток желтенький. Пока не завершит, не отдаст.

Трудится, а Гликерия ей рассказывает: то про святых, то про Богородицу заведет.

Потом Ариаднин черед: сказку читать. У ней свои, французские. Книжка пухлая, с картинками. Как только в блокаду не спалили... Дочитает и за вопросы примется: сама спросит, сама и ответит. Чудно? говорит – по-французски. А то и ошибется нарочно: проверяет – поняла ли? Софьюшка нахмурится, головкой качает. Пальцем в книжке указывает – не так, дескать.

Евдокия раз увидела: «Неужто и читать знает, или так – наугад тычет?» Ариадна обиделась: «Почему наугад? Я когда читаю, пальцем вожу по строкам, чтобы она тоже следила. А буквы давно знает. Я еще весной показала».

«А ну-ка, – Евдокия удивляется, – задай какое слово. Пусть в книжке разыщет».

Софья улыбнулась хитренько, глазками по строчкам побежала – два раза нашла.

«Да ну вас! – радуется Евдокия. – Кто ж вас, грамотных, проверит – сговорились, поди!»

Софьюшка носик морщит. Смеется, значит.

* * *

Радио большое, черное – у Евдокии в комнате висит. Софья приходит, встает на стульчик. Включит, приникнет ухом. Тихонько, чтобы бабушкам не мешать.

– С вечера не спала, вот чего-то и вспомнилось: раньше конфетки были в коробках. Которые так насыпаны, которые – в золото обернуты. Откроешь, внутри щипчики серебряные. Иван Сергеич часто покупал – баловал меня.

Глаза веселые, улыбается, будто помолодела.

– Вот и разбаловал, гляжу, – Евдокия губы поджала. – Ишь, чего вспомнила: конфеты в золоте...

– Да разве ж я, – сморщилась, – по конфетам...

Евдокия сидит. Губы сухие, тонкие. Прям в ниточку свела.

– Вчера, на Офицерской, гляжу, опять копают. Яму огромную вырыли, пар из нее – клубами. Сбоку мостки, по краю треноги выставили. Софью веду, батюшки, нечистая сила: из-под земли-то голоса. Кто ж это там – в кипятке? Глянула: мужики. Двое, морды грязные, под трубой ковыряются. Так и смеются еще: «Чего, бабка, напугалась?» Напугаешься тут. Бесы, прости Господи! Роют, роют. Скоро насквозь расковыряют. Не сидится им на земле.

– На Офицерской-то – где? – Гликерия сахарку наколола, высыпала в блюдце. Сама ма-аленькая. Как воробышек.

– Да тут, за углом. Как она у них? Декабристов.

Гликерия сахарок сосет – задумалась:

– Декабристы-то эти когда прославились? В революцию или в войну?

– Бог с тобой. – Ариадна плечиком пожимает. – Это же еще в прошлом веке. Декабрьское восстание восемьсот двадцать пятого года. Против крепостного права.

Образованная. Книжки читает. Цельная полка у ней.

– А-а, – Гликерия головой покачала, – вон оно когда... То-то я не упомню. Это матери моей волю дали. Наши-то все из крепостных. Да мать-то тоже не больно радовалась. С господами, говорит, лучше. Те выгадали, кто в город ходил, на заработки. Так они и раньше свободно. В прежние времена везде платили. И барину хватало отдать, и семье.

– Вот и перед войной, – Евдокия за щеку взялась, – тоже все рыли. Иду как-то, думаю – и чего роют? Ох, ведь дороются. Невестке сказала. А та губы дует: трубы, говорит, прокладывают. При царе, говорит, не заботились, чтобы во всех домах – вода.

– А мать рассказывала, барин наш хороший был, добрый. И замуж силком не выдавал. Отец-то кузнецом у меня. Вот они с матерью приходят. А барин – ничего... Благословил их. Молодые долго еще ходили – благословения спрашивали. Уж и воля была, а все равно...

– Чего это, говорю, не заботились? У нас с прежних времен кран. И вода чистая, ничем не воняла. А мы, невестка мечтает, везде трубы поменяем. И поезда под землей пустим. Смеется...

– Раньше, до войны, – Гликерия вспоминает, – часто смеялись...

Евдокия сморщилась:

– Уж это они мастера. То смеются, то землю роют...

– Господи, – Ариадна вздыхает, – сколько же рвов безымянных... Как представлю, сколько с блокады осталось...

– С блокады!.. А канал?

Гликерия перекрестилась:

– Народу больно много. Одни роют, другие в землю ложатся.

– Кабы так... – Евдокия чашкой пристукнула. – Думают, другим вырыли. А потом, глядь, выходит – себе... Ладно. – Клеенку разгладила. – С вами сидеть – греха набираться. Зуб, едитская сила, ноет. И рот-то пустой, совсем зубов не осталось, а всё болят...

Рейтузы из толстой шерсти. Гликерия кофту старую распустила, связала в две нитки. Валенки с галошами, беленькие. Теперь черные валяют. В голенищах не согнуть, не разогнуть – ходи как в колодке. Под шапку – платочек хлопчатый; завяжут, спросят: не туго? Пальто новое, теплое. Евдокия свое перелицевала. Драповое, ватин в два слоя проложила. У самой другое есть – на ее век хватит.

– Мы уж в Никольский, – повязалась, концы заправила. – Санки не давайте – пешком дойдем.

Ариадна дверь закрывает:

– Мимо пойдете, обрати внимание: может быть, елки привезли...

Лестница широкая, пологая. На каждом пролете две квартиры. Дом-то старый, а от прежнего один грот остался. Большевики не добрались. Тритоны, раковины морские – все в неприкосновенности. Софья идет, всякий раз оглянется. Любит сказки.

Ариадна когда еще приметила. Раньше ведь как: сидит, слушает, лишь бы читали. Хоть Красную Шапочку, хоть Буратину этого, хоть Бабу-ягу. А теперь выучилась – сама книжку несет: раскроет, подает Ариадне. Читай, дескать, про девочку, про Русалочку. Ариадна уж измучилась: сил нет. Сколько можно одно и то же читать... Ты ведь, говорит, наизусть знаешь. А она нахмурится, глазки слезами нальются: пальцем указывает – читай. Ариадна и хитрить пробовала: то одно выпустит, то другое. Куда там! Выросла. Теперь разве обманешь...

Гликерия первая догадалась. Это она, душа ангельская, про немоту свою понимает. Русалочка эта вроде ей чета. Только та-то хоть ведает, за что речи лишилась. А наша разве знает...

Перед домом сквер. За ним памятник: к площади передом, к нам – задом. В теплый день дети по перилам лазают. Зимой перила скользкие, леденелые. От него за угол свернем – вон они, купола.

Бабушка за спину взялась. Постоим, говорит, чуток. Прямо с утра немеет, как не своя. Стоит, кругом оглядывается.

– Вот бы, – шепчет, – лет двадцать еще пожить...

Рядом иду, а сама думаю: старенькая, зачем ей столько?

– Поглядеть, чем у них дело кончится.

У кого это – у них?

Евдокия будто расслышала, буркнула сердито:

– У них, у этих... Большевиков. Ладно, – говорит, – ты, знай, молчи. А бабку старую не слушай. Под ноги лучше гляди, чтоб не упасть... Сперва в церковь, мне свечку поставить надо. День у меня плохой – годовщина нехорошая. Потом уж к колокольне прогуляемся. По каналу кружок сделаем и – домой.

Снизу сумрачно. Верхний храм нарядный. По лесенке взойдешь, красота неописуемая: золотом убрано, куда ни глянь.

Младенцем была, носили к причастию. Теперь боимся. Опять церкви рушат. Неймется им, аспидам. После войны стихли вроде. Теперь снова взялись...

Бабушка Евдокия в церкви строгая.

– Вот, – учит, – там алтарь. Перед ним ворота царские: отворят, все насквозь видать. Батюшки в алтаре ходят, словно праведники по небу. Вечером служба начнется – паникадила зажгут. Свет тихий, благостный. Оглянешься, душа радуется: золото горит, вспыхивает – так жаром и обольется.

Сходит, принесет свечек, потом за руку возьмет, подведет.

– Свечку, – говорит, – подтопи с исподнего конца. Крепко ставь, чтоб не упала. А глазами не шарь. Прямо на лик гляди. Теперь крестись, пока никто не видит. Да не так, горе: пальцы плотно сложи, сведи в щепотку. Проси Богородицу за души загубленные, грешные. Меня не слушала, может, к бессловесной снизойдет...

Лики строгие, темные. Огни под ними пляшут, бьются на свечах. Бабушка Евдокия говорит:

– Души живые теплятся. Прогорят, старуха черная явится: сметет огарки в подол. Вот и мы так: погорим-погорим и погаснем. Свечи-то до конца сгорают, а люди, бывает, и не до огарков.

С бабушкой Гликерией лучше ходить. С ней к Николаюугоднику: «Молись, – учит, – Софьюшка, за странствующих и путешествующих».

Он и в комнате у нее. А под ним огонь – в красной чашке. Бабушка подойдет. Стоит, разговаривает. Шепчет, шепчет. А он молчит. Видно, не умеет говорить.

«Николай, – рассказывает, – Святитель за всех заступается. Кто по морю плавает, кто в лесу заблудится – вот он на путь и наставляет. Во тюрьмах сидящих посещает, в болезни лежащих исцеляет...»

К иконе подведет – объяснит: «Вот, гляди. Вся жизнь человеческая представлена. И на этом свете, и на том. Тамто у них светло. В середине Господь сидит, а по сторонам его – праведники. Жизни прошлой не помнят: по-новому наслаждаются. А зачем им помнить? У них теперь другое, свое...

А внизу-то, – пугает, – ад. Тут уж муки: плач и скрежет зубовный. В аду, небось, грешники. Только Он и к ним спустится – снизойдет. Грешники всякие бывают: кто – закоренелый, а кто и по неразумию. Жизнь, – вздыхает, – как только не складывается – в особенности, пока молодая...»

Из церкви вышли, пошли вдоль канала. А там уж дом страшный: дядьки огромные стоят. Бабушка говорит: истуканы, медные лбы. Мимо идем, глянула украдкой: вон ножищи какие. Наступят, прямо раздавят.

Кружком обошли, и – дома.

– Ну, – бабушка Гликерия раздеться помогает, – где были, что видели?

– Где ж мы с тобой были? – бабушка Евдокия отвечает. – В церкви, скажи, были, потом по каналу прошли.

– Ну, и как там? Морозно на улице? Намерзлись, поди?

Галоши сняли, валенки к батарее приткнули – пусть сохнут.

– Что это ты хмурая такая? – бабушка Ариадна показалась, встала у притолоки.

– Да знамо что. Истуканов этих боится, – Евдокия платок разматывает. – Сколько ни говори, как об стену горох.

– Это же статуи, – Ариадна головой качает. – Разве можно их бояться?

За руку взяла, к себе ведет.

– Я же тебе рассказывала. Называются атланты. Их скульпторы сделали из камня. Сказка такая, будто бы они землю держат. А внутри – полые. Пустые. Там только проволока, чтобы крепче держалось.

На столе карандаш, книжка взрослая, раскрытая. Подле нее листков пачка. Бабушка Ариадна по одному дает – рисовать.

– Порисуй, пока обед греется.

Ушла.

Сверху облако. Под облаком дом большой. Внизу канал длинный. Вдоль него загородка. Перед домом эти стоят – огромные. Головы черные, страшные. Внутри проволока. Пальцы большие топырятся – возьмут и уйдут с места...

Карандаш отложила, прислушалась: нет, не зовут. Снова карандаш взяла. Буквы большие, корявые. Вывела:

БОЛШЕВИКИ

– Что притихла? Рисуешь? – бабушка Ариадна заглядывает. К столу звать. – Ну, покажи, что ты там нарисовала?.. Господи боже мой... – Пальцами рот прикрыла. Схватила листок, из комнаты пошла.

Бабушка Евдокия заходит, глядит грозно:

– Ты чего ж это, девка, удумала? Ума, никак, решилась? И себя, и всех погубишь. Глупости какие писать!

Нахмурилась, пальцем пригрозила:

– Гляди у меня!

* * *

– Ты, Евдокия Тимофеевна, все-таки следи за собой. Твоих ведь речей наслушалась. А представь себе, заговорит?.. Да, не дай бог, еще в школе... – Ариадна петли подхватывает, думает вслух.

– Ох, грехи наши тяжкие, – Гликерия вздыхает.

– При чем здесь наши грехи?

– Уж и не знаю, – Гликерия петли считает, – что и лучше. При нашей-то жизни: языкастой или уж так, молчком.

– Чего ей в школе-то? И так, небось, грамотная, – Евдокия вступает виновато. – Я вон три класса окончила – на всю жизнь хватило. А наша-то и по русскому, и по французскому. Считать научится – вот с нее и хватит.

– Ты, Евдокия, сама подумай: как это можно – без школы? Не заговорит – в *особую* направят, – Ариадна шепчет, будто опасается кого.

– Ну уж нет, – голос возвысила, – в *такую-то* не отдам. Костьми лягу. Нечего ей там делать.

– То-то они костей твоих напугались, – Гликерия на дверь оглядывается. – Явятся, утащат силком...

За окном тихо. На стеклах цветы заплетаются. Шкаф зеркальный в углу. Глаза закрыла – страшно. Будто крадется кто-то, грозит утащить...

Голоса сухие, слабые, едва проникают. Бабушка Гликерия кофту вяжет – обещала на праздник. Кофта теплая, синяя. «Из старой, –

говорит, – выросла, так мы ее распустим. Ниточек красных прибавим. Вот и в школу можно идти»...

Распускать весело: нитка бежит, вьется, выскальзывает из петель. Гликерия за нитку дергает, Ариадна напротив сидит, наматывает. Как порвется, концы найдет, свяжет узелком. Комки пухлые, мягкие, старыми петельками завитые. Постирают – на веревку вешают, под каждый – мешочек с песком. Это чтобы петли выпрямить. А то новое начнешь, а старые петли и не лягут. А так – нитка гладкая, только рваная очень. Свяжут, вывернут – вся изнанка в узелках...

* * *

С работы пришла.

– Ну вот, съездила я в Гостиный. Спросила у них. Были, говорят, костюмчики, да все разобрали. А тут еще заказы с производства. Вот я и думаю: может, и наш местком заказал?

Картошек набрала, подстелила газетку. Руки за день устали: нож не держат. Ох, думаю, нехорошо мне последнее время. Утром иду – ничего вроде. А потом как подступит. И от еды воро?тит, тошнит...

– В воскресенье не забудьте – в контору нам, опять за мукой стоять. Зайду, узнаю: а вдруг запись с вечера? Говорили, в одни руки по два кило. Гвозди еще накалить. Прошлый год поленилась, погнила мука. Вы уж на воскресенье приготовьтесь, оденьтесь потеплее. Часа два выстоять придется, а может, и все три.

Про дите смолчала. Все равно не пустят: нечего, мол, по очередям толкаться. Другие-то ничего: младенцев и тех тащат. А как же? Сколько явилось, на тех по счету и дают.

Ополоснула картошку, поставила. Шкурки теперь выбросить. С черной лестницы холодом несет.

На лестнице ведра помойные – стоят по углам. Мама шкурки картофельные выносит, в ведро бросает. Ведро полное, шкурки и высыпаются. Выглянешь, бабушка Евдокия сердится: «Куда, – кричит, – любопытная Варвара? Или Ворона Вороновича не боишься? Смотри, подкараулит...»

Ворон ночами прилетает, помойную еду клюет. Разворошит, поклюет шкурки и дальше полетел...

Пошла, по полкам пошарила.

– Нету, – говорю, – гвоздей. Снова на помойку тащиться.

– Ты, – Евдокия объясняет, – доски потолще ищи: в тонких гвозди-то мелкие, неподходящие.– Сегодня уж не пойду – темно. До воскресенья есть время – успею прокалить.

Плита черная, огромная. Спереди дверка железная – поленья пихать. На дверке засов кованый. Поленьями набьют – на засов заложат. Огонь в печи кряхтит, бушует. В щелку заглянешь – языки завиваются, так жаром и пышут. Близко-то страшно: Баба-яга подкрадется, живьем в печь пихнет...

Прокалят, достают щипцами. Гвоздья кривые, красные: остынут, в банки мучные запихивают, чтобы мука не погнила.

Картошку слила – ужинать сели. Сами картошки с постным маслицем, Сюзанне – сырок в обертке. Нечего, говорят, картошкой наминаться. Вырастет, успеет еще.

– Барыню, – смеюсь, – ро?стите: может, икры ей паюсной купить?

Поужинали – из кухни пошли. Теперь читать примутся. Ну, думаю, пусть...

Бабушка Гликерия книжку отложила.

– Глаза, – говорит, – у меня болят. Слабые стали. К вечеру совсем слезятся. Сегодня так расскажу, что помню.

«В некотором царстве, в другом государстве жили-были король с королевой. Жили они дружно, только судьба их не баловала: не было у них детей. Они уж и всякую надежду потеряли, да бог милостив, послал наконец девочку. Обрадовались, имя красивое выбрали. Приглашают гостей...»

Ох, только теперь и заметила: детское в общем тазу замочила. Хорошо, старухи не видели – отдельно велят стирать. «Взрослая грязь едкая. За целую жизнь копится. Как ни мойся, дочиста не отмоешь». Ладно, может, им и виднее. Сколько лет в Максимилиановской проработали. Няньками в приемном покое.

Вперед Евдокия устроилась. Потом других переманила. Так и дежурили – сутки через двое. В больнице удобно. Работа хорошая, легкая: примешь больного, белье казенное выдашь – снова сиди. И сыта весь день. Кормят из больничного котла. Помыться если опять же. А еще и белье постельное: возьмешь комплект, застелешь. И грязное стирать не надо. Снесешь, сдашь сестре-хозяйке. Вот бы в общежитии так – а то сами стирали, для себя...

«...А колдунья та злая была. Страсть не любила, когда про нее забывают. Как прознает об этом, пакости принимается выдумывать: лишь бы по ее воле было. Король с королевой феям кланяются, за дары щедрые благодарят. Только сели за столы, слышат, гром небесный раздался: карета черная едет, вороном запряженная. Тот глазами бесстыжими шарит, клекочет по-своему. Колдунья из кареты выходит и – прямиком к колыбели. Без меня обойтись задумали? Ужо! Пальцем грозит. Я вам свой подарочек приготовила: пусть, говорит, живет, пока не вырастет, а как вырастет, спицей ядовитой уколется – вмиг и помрет...»

Тру, тру... Мыло склизкое, так и норовит выпрыгнуть. Белое вскипятить: тя-янешь бак на плиту. Остынет, снова прополоскать, потом уж – в синьку. Натягаешься, живот прямо схватит. Раньше-то ничего: полежишь, отходит. А последнее время – кровь. Немного. Денек-другой помажет. Подкладывать все равно приходится. Тряпки эти отдельно стираю.

В подвале, во дворе общая прачечная. Которые хозяйки – туда ходят. Вначале тоже ходила. Потом зареклась. Жар, духота, котлы эти огромные. Пусть уж те, у кого коммуналки. На общей кухне много не настираешь. Мне-то хорошо: старухи рано ложатся, почитай, до ночи себе хозяйка...

«...Заплакал король, заплакала королева, а первая фея занавеску

поднимает, выходит на белый свет. Это она заранее спряталась, чтобы колдовство злое застигнуть. Не плачьте, утешает, король с королевой: все равно по ее воле не будет. Мало у меня сил, чтобы колдовство отменить, но и сидеть сложа руки не стану: свое заклятье наложу. Пусть девочка ваша как вырастет, ядовитой спицей уколется – этого не миновать. Уколется, упадет замертво, но сама не умрет – только заснет надолго. А как пробьет ее час, глаза и откроются. Тут она навек проснется...»

Бабушка Евдокия в комнату заглядывает:

– Начитались? Теперь и спать пора. Огонь-то зажечь тебе? – Кнопку у ночника нашарила. – Не уснешь, небось, без огня.

Фонарик белый, на нем узоры красные – будто домик. По бокам феи нарисованы, на маковке петушок золотой...

Постирала. Белье выкрутила. Всю кухню завесила. Хорошо, думаю, ночью. Тихо. Выглянешь – все окошки погашены. Будто и нет никого...

У Гостиного, почудилось, *его* встретила. Сердце прямо ахнуло. Удивилась только: важный стал. В шапке пыжиковой. Обогнала, глянула потихоньку. Гляжу – нет. И чего это я... Другой он. А какой другой? Так-то и не скажешь. Нет у меня таких слов.

Сколько лет прошло – лицо забывать стала. Говорят, в дочери проявится, поневоле вспомнишь. Особенно если в него. Пока что трудно сказать: вроде в мать мою, покойницу. А другой раз сядет, щечку этак подопрет, глаза к потолку – ну вылитый он. Лицом вроде и не похожа, а повадку переняла. Отродясь отца не видывала, а все будто помнит. А если заговорит? Неужто тоже как он? Опять ведь не пойму половину... Опомнилась: да пусть хоть как, хоть совсем на французском. Лишь бы заговорила...

В этих делах кругом непонятно. Девкой была, чудесам дивилась. Мать с отцом общие, а дети разными получаются. Один работящий, спину не разгибает, другой – лодырь, каких мало... Учителку в деревне спрашивала: как же так выходит? Не знаю, говорит. Все от природы.

Беременная ходила, тоже думала. К Зое Ивановне подступалась. «Всё, – отвечает, – от воспитания. Что вложишь, то и выйдет. Проворонишь, в отца своего вырастет, засранца». – «Чего уж, – говорю, – пенять теперь. Отец отцом, а я и сама виновата». Мать сколько раз остерегала. Разве учила – с первым встречным гулять?..

А еще, думаю, от имени много зависит. Взять хоть мое: Тонька да Тонька. Я тогда еще решила: если мальчик, в деда назову – мужикам все одно. А девочка – пусть с детства красивое имя слышит. Может, жизни моей не повторит.

По закону ведь как: отчество любое пиши. Зоя Ивановна советовала: «По деду записывай, по своему отцу». Ну не знаю, думаю: нехорошо как-то, не по-людски. Пусть уж по правде будет. Так и записала.

Старухи, те по-своему рассуждают: «Что народилось, то и вырастет. Случается, и на елке яблоко завяжется, а бывает, и на яблоне – шишка». – «Что же, спрашиваю, тогда стараться, за дитем доглядывать: ежели уж, к примеру, шишка, яблоком не станет». – «Нет, – соглашаются, – не станет. А если яблоко, тут уж от людей зависит: дичком кислым останется или соком садовым нальется»...

Зажмурилась: клубки цветные катаются... Все нитки у них спутались.

Бабушки концы подхватывают, связывают узелками... Занавеска на окошке колышется: фея за ней спряталась – злую колдунью ждет. А та Воронов Вороновичей запрягла, по улицам едет: мимо церкви, вдоль канала, к самому черному дому... Большевики на них глядят, радуются. Пустыми пальцами шевелят...

* * *

– Вчера, – Ариадна жалуется, – совсем не спалось.

– Да уж слышала я, как ты у себя колобродила. Все слышно за стенкой.

– Пить очень хотелось, – оправдывается. – Сохнет в горле. Два раза вставала. Попью, лягу. Ничего не помогает.

– Пустую, что ли? Взяла бы, хоть валерьянки накапала. Или корвалолу.

– Лежу, думаю... Вот бы внук мой, Алешенька, пожил... Софья ему по годам – дочка.

– Ох, – Гликерия сахару ускового досыпает, – ладно, молчит пока. А заговорит – про отца ведь спросит.

Евдокия губы поджала:

– Пусть у матери своей спрашивает – мать-то на что?

Ариадна оглядывается, щипчики ищет.

– Сколько лет прошло... Так ни разу не появился. Видно, непорядочный человек.

– А может, помер уже?..

– Помрет он, жди-дожидайся, – Евдокия сухарь макает, размачивает. – Такие-то кобелины долго живут.

– Да ладно тебе, – Гликерия за него заступается. – А вдруг с того света любуется, какая дочь у него выросла.

– Любуется он... – Губы поджала. – Чем так-то любоваться, помог бы девке: упросил – пусть бы заговорила.

– Ну разве можно так, – Ариадна страдает. – Сами не знаете, что говорите. Дикость какая-то.

– Одичаешь тут, – Евдокия губами пожевала. – Счастье, что ты у нас культурная... Пропали б без твоего-то ума.

– Антонина говорит – пропал он... Пошел и исчез, – Гликерия глаза опустила, уткнулась в чашку. – Вот я и думаю... Чего он вдруг исчез? Мало ли что?..

– Глупости мелешь, – Евдокия волком зыркнула. – Это ж когда было? В те-то годы, наоборот, выпускали. Кто выжил, многие и вернулись. Не то что... – Совсем рассердилась. Отложила сухарь.

Какой отец? Кого это выпускали? К кому вернулся?

– Ну, – бабушка Евдокия оборачивается, – закончилась твоя сказка? Вот и слезай со своего стульчика. А то ишь, уши развесила! Привыкла к разговорам взрослым прислушиваться... А нечего тут слушать. Поди, у себя побудь.

К себе побежала.

Это же про ту девочку. Которая в шкафу живет.

Створку распахнешь – является: стоит, смотрит. У нас и платья одинаковые – бабушка Гликерия шьет. И комната на нашу похожа: стол, занавеска, стены желтые. Только кровать одна – другой нету. Зато дверь у

них. А еще лесенка. Отец ее по лесенке возвращается, из-за двери смотрит. Полюбуется на нее и снова уходит.

У них квартирка маленькая: зачем им? – бабушек-то нету. Бабушки здесь, со мной живут. А мама ее не спит и не готовит. Только волосы перед зеркалом причесывает. Причешется и тоже уйдет...

– Ну, чего, – бабушка Евдокия заглядывает, – опять перед зеркалом крутишься? Ох, гляди – вырастешь вертихвосткой...

Подошла, прикрыла створку:

– На улицу пора собираться. С бабушкой Ариадной пойдешь.

* * *

К ограде подходим, а там замок висит. И горка пустая – никаких детей нету. А в садике люди одинаковые. Ходят, лопатами снег гребут.

– Боже мой! – бабушка Ариадна заглядывает. – Солдат сколько... Пойдем, голубушка моя, к мостику, на львов посмотрим, полюбуемся. Львы добрые, смирные. Сидят, караулят. Внук мой Алешенька тоже их любил. Николенька, младший, не запомнил. А старший должен помнить. Мы с ним часто ходили, как с тобой. Он все про нас помнит. Вот вырастешь, тоже про него вспомни. Я умру, никого у него не останется: только ты одна...

Домой пришли. Поели, попили – отдыхать пора. Бабушка Гликерия одеяло подоткнула:

– Вот и спи, голубка. Праздник скоро. Надо бы игрушечки елочные проверить, вдруг побились. А побились – тоже не беда. Мы с тобой ниточек возьмем, корзинок цветных навяжем. Мама подарок принесет, а мы конфетки-то в корзиночки и положим. Зачем нам эти шары?..

Картошкой пахнет. Сковородка в кухне шкварчит.

– Солдаты там. Снег сегодня убирают, – Ариадна в сковороде помешала, от плиты обернулась. – У нас в саду тоже батарея стояла. Артиллерийская. Я ведь сначала радовалась: думала, так и прослужит рядом с домом. Первое время забегал. Прибежит, тушенки принесет. Сначала ведь хорошо их снабжали. А потом, в сентябре, – всё. Батарею в Залив перебросили, на форты. А он меня утешал: «Ничего, мама... От Ленинграда близко. Скоро в увольнение отпустят». Письма часто писал. А потом смолк. Последний раз в феврале пришло: младший уже умер. А старший пожил еще – они потом, с невесткой, на следующий год...

Кивают, слушают. В который раз рассказывает, а всё вроде внове.

– А кабы не умер никто, – Евдокия хлеба нарезала, – чем бы кормиться стали? Вон, глядите, с войны уж сколько прошло – а все муки? не хватает. Вот и считайте – нас теперь четверо, значит, восемь кило дадут. А так твоих-то всех собери, да моих прибавь – сколько бы понадобилось? Снова голод.

– Ой, не говори, – Гликерия хлебушка взяла. – Веснойто прошлой, помните, у многих погнила. Жучок в ней завелся. Как идешь мимо, пакеты мучные валяются. Вся помойка засыпана. Белым-бело... Хранить, видно, не умеют. Наберут, наберут, а гвоздями и не проложат. Так-то бы и три года пролежала.

– До революции ихней, – Евдокия губы морщит, – гвоздями, небось, не

прокладывали. А всем хватало муки?.

– До революции, – Ариадна голову опустила, – народ тоже страдал. Не так, конечно... По-своему. Но все равно многие мучились.

– Мучились они! – Евдокия головой крутит. – От безделья они мучились, вот и все ихнее мученье. Кто работал, тот и не мучился.

– Полно, – Гликерия рукой махнула, – жизнь ведь прошла. Чего уж теперь?..

– Так мне-то, – утихает, – ничего. Мне на том свете муки? не надо. Софью вот только жалко... Ей еще жить.

– А я вот иногда лежу, думаю: если б склады не разбомбили, может быть, и хватило бы муки?... По радио говорили: огромный запас сделан...

Евдокия тарелки собрала. Смолчала.

Вода льется, льется – значит, тарелки моют. Теперь в комнату пойдут, нитки мотать.

* * *

– Ну гляди, сперва донышко.

Пальцы ловкие, крючок так и прыгает – разве уследишь?

– Теперь стенки подымем, свяжем по кругу.

Сверху каемка синяя, а к ней – ручка. За ручку на елку вешают.

– Помнишь, – бабушка Гликерия спрашивает, – какие у нас там игрушки?

Шары цветные, рыбки, звери разные из картона. Еще птички стеклянные – голуби. А вместо лапок у них крючки. Это чтоб за елку цепляться. У церкви тоже голуби: только другие, важные. Ходят, с боку на бок переваливаются. Их крупой кормят. Пшена принесут, насыплют. Вот они слетаются и клюют.

Там, у церкви, старик страшный. Ездит на санках. А санки у него сломанные, совсем без спинки. Сам короткий, ноги пустые, вместо рук крючки воткнутые, из железа. Он их из проволоки согнул – крючками в землю упирается, сам себя толкает. Бабушка Гликерия сердилась: «Чего смотришь? Отвернись. Это – инвалид. Таким с войны пришел. Раньше много их было. Один теперь остался: другие-то поумирали, должно. Отмучились, голуби. Отдыхают на том свете».

А... Догадалась... Это они здесь страшные, а там – уже голуби. На том свете елку им поставили. Вот они на ней и сидят. Не мучаются, крючками за ветки схватились. Голубям рук-то не надо. Теперь у них клювы выросли: конфеты из корзинок клюют.

Бабушка нитку закрепила, растянула на пальцах.

– Ну вот, – говорит, – все и готово. Можно крахмалить. А вечером сяду, еще корзиночку свяжу.

Отложила, за свою работу взялась. Близко посмотришь – крестики одни разноцветные.

– А ты, – велит, – подальше-то отступи. Издалека яснее видать.

И правда, смотрю: конь, а на нем всадник с копьем.

Бабушка говорит:

– Вот он, Святой Егорий, отца моего заступник. Ты рядышком садись, вышивай свой цветочек, а я тебе про него расскажу.

«Было это в Ерусалиме, во святом граде. А посторон святого града – три царства беззаконные: Содом-город, Гоморгород и третье –

безымянное. Вот Господь глядел-глядел на беззакония и послал Содом и Гомор сквозь землю. А на третье царство напустил змея лютого. Приползает змей на соборную площадь и кричит страшным голосом: подавайте мне по человеку с каждого города! И осталось у них совсем мало людей...»

Нитку откусила, разглядывает.

– Тут, – обещает, – змей еще будет. Закончу, тебе подарю. А когда умру, память моя останется. У себя в комнате повесишь.

Бабушка Евдокия послушала:

– А я, – говорит, – скатерть тебе старинную оставлю. Полотно крепкое, камчатное, по кайме – розы. Гости придут, на стол накроешь – то-то они удивятся. А ты и объяснишь: бабушкино, мол, приданое.

Бабушка Ариадна услышала, к себе в комнату манит. Побежала за ней. А она на дверь оглядывается и говорит:

– Я тоже тебе подарок приготовила. Сережки старинные, бриллиантовые. Родительская память. Все в войну обменяли – только они и остались. В ушки тебе вденем. Ни у кого таких не будет. Вырастешь, в зеркало посмотришь, меня и вспомнишь.

Умрут, к той девочке отправятся, с ней будут жить. Девочка их встретит, обрадуется. Только комнатка у нее маленькая – жить тесно. Пусть и комнаты их умрут – чтобы всем разместиться...

– Что ж ты, – бабушка Ариадна говорит, – печалишься? Рано горе горевать. Мы ведь поживем еще, сколько Бог положит. А ты, пока молодая, хорошо живи, про нас не думай. Мы сами о тебе думать будем, любоваться. И жизнь твоя будет долгая... Ну, ступай на кухню. Пора молоко пить.

Пошла, а сама думаю: где ж им на том свете обедать? Надо, чтобы и кухня умерла.

* * *

Бабушка Ариадна через ситечко процедила: на, говорит, пей. К молоку пряник. Глазурь сухая, звездочками крошится, будто снежок.

Пряники из муки пекут. На том свете муки ? нету – значит, и пряников... Что же они там кушают? Наверное, суп...

Дверь в прихожей хлопнула, замок хрустит. Бабушка Гликерия заглядывает:

– Беги, встречай мать.

А мама сама заходит. К столу села, пригорюнилась:

– Сил моих больше нету... Все помойки облазала: только две доски и нашла. Вчера надо было – сегодня-то все хватились, растаскали... И гвозди кривые, ржавые – еле выдрала. Сейчас, – волосы поправила, – отдышусь... Почек купить ведь думала. Рассольничек сделать. До гастронома дошла, а зарплата-то в пятницу. Так-то бы и хватило, да шесть рублей отложено, вдруг костюмчик принесут. Зоя Иванна обещала... Да, вот еще: на той неделе самая работа – план горит. Я мастеру сказала:

если что, сверхурочно прихвачу. Сверхурочные к тридцатому выплатят. Я вот и думаю: вина бы надо на праздник. Муки получим, пирогов напеку. С картошкой или, может, с капустой. У нас одна тоже: торт, мол, куплю, в «Севере». Я и подумала: может, и нам? А потом думаю: нет. Баловство. Лучше сосисок взять или сыру. На праздник-то можно. Винегрет еще накрошу. Селедки с лучком. Встретим не хуже людей.

Евдокия говорит:

– Ребенку разве можно без супа? Ты хоть постного ей свари: картошечки нарежь, морковки. Молочком и забелим. До пятницы долго еще...

– Нам, – Ариадна оправдывается, – в четверг пенсию принесут.

– Господи, – прямо расстроилась даже, – да разве я про это? Со сверхурочными так рублей восемьдесят выйдет. Прокрутимся. Ладно, – говорю, – пойду, полежу часок. Вы уж сами ужинайте. Устала...

– Селедочки-то хорошо... – Гликерия в пустую кастрюлю заглядывает. – Просолиться.

– Ты, – Евдокия сердится, – транжирка у нас известная: тебе лишь бы деньги трынкать.

Голова плохая – тяжелая. Продуло меня, что ли?

Легла. Плохо, думаю. Последнее время совсем будто мертвая. Хожу, делаю, а внутри пусто... Зима больно тянется. Прямо не дожить до лета...

* * *

Зою Ивановну в перерыве нашла, спросила про костюмчик. А она и говорит: «Разговор к тебе есть. Зайди после смены».

Обратно иду, жена Сытинская навстречу.

– Ну, как живешь-поживаешь? Эти-то не сдохли еще, старые ведьмы? С мамашей твоей ничего, ладят?

– Да, хорошо, – говорю, – живем.

– Ты смотри, потачек им не давай. Я вот жила, не давала. И не гляди, что старые – еще и нас переживут. Ох, попили моей кровушки. Володька маленький был. Чуть что – являются. «Уймите, – мол, – вашего мальчика, чтобы он в прихожей не кричал». – «Ага, – говорю, – может, ему и рот заклеить?» А Евдокия эта, злыдня: «Вот, – шипит, – и заклейте». – «Может, – говорю, – нам и всем рты-то позаклеивать? Руками объясняться, вроде немых? Лучше б, – говорю, – за своими детьми глядела, чем чужих гонять». Гляжу – молчит. А чего ей сказать? Ей сказать нечего. Я-то все про нее знаю, соседка снизу рассказывала: старший у ней – еще до войны расстреляли, а младший и того хуже – тюремщиком ведь служил. Ох, замуж бы тебе, Антонина... Второго родишь, завод квартиру предоставит. Иначе так и не выберешься – из ихнего болота. Ишь, суки старорежимные!.. Мы когда еще получили... Въехали. Сколько лет прошло, а поверишь, до сих пор снится. Проснусь, прямо мокрая вся. А потом лежу и думаю: нету же их больше. Одни теперь живем. А внутри-то щемит, щемит: господи, думаю, вот же он – рай...

Все-таки сучка эта Сытина. Живет как у Христа за пазухой, а все туда же – тюремщик... Лишь бы сына чужого оговорить. И не боится. Свои ж сыны подрастают. А если их кто оговорит?..

Смена закончилась, в местком поднялась.

Зоя Иванна приглашает:

– Садись, Антонина. Что ж ты с дитем своим делаешь? Девке шесть скоро, через два года – в школу. Ладно, болела, пока маленькая. Так теперь вроде и выровнялась, а все с бабкой сидит. Нормальные детки в садик ходят. Вон внуки у меня: и рисуют, и песни поют, и стишки рассказывают. Мать-то у тебя неграмотная – как к школе подготовит?

– Да нет, – оправдываюсь, – ничего: Сюзанночка и буквы все знает. Читает помаленьку.

– То-то, – говорит, – что помаленьку. А в садике учителя специальные, спектакли ставят. Раз в неделю музыкальное занятие. Разве сравнить? Недавно и в театр кукольный водили, на Седьмое ноября – под праздник. А как они к празднику готовились! Песенки, речевки разучивали. И питание в садике диетическое, разнообразное. Ты ж пойми: девочка твоя – не деревенская. Ей в городе жить.

– Спасибо, – говорю, – подумаю.

– Ты, – торопит, – скорее думай. Время уйдет – упустишь.

– Как там, – все-таки решилась спросить, – костюмчик?..

– Ты, – хмурится, – Антонина, вроде и не мать, а мачеха. Тебе дело говорят, а ты – про всякую ерунду. Вот вырастет девка старорежимная, локти станешь кусать, да уж поздно. Ладно, иди пока... А костюмчик обещали. К послезавтра, сказали, посмотрят. Может, еще и есть на складе. Мы ж их к ноябрьским заказывали – я и внукам брала...

Обратно иду, думаю: немоту-то от них скрыла. А ну как всплывет? У нас в цеху тоже одна была. На кислотах до последнего работала, живот себе перетягивала, чтобы поменьше видно. А мальчонка родился – сперва вроде здоровый. А потом глядят, а он и ходит плохо, и голова какая-то большая. Утешали сначала: ничего, может, выровняется. А потом пошло... Водянку мозга определили, который год по больницам... К ним попади только – затаскают по врачам. Совсем загубят девку. Нет уж, решаю. Не отдам. Живем хорошо, не хуже других. Ишь, театры у них... Так наша тоже пойдет в Мариинский. Обещали же – на балет. А праздники... Так и мы праздник устроим – елку нарядим, поглядим еще, чья лучше... Господи, думаю, а все равно страшно. Вдруг да отымут?..

Через дорогу пошла, а сердце бьется, колотится.

Бабки-то умные, конечно... Так ведь и Зоя неглупая: правду говорит. Они-то свое прожили. А жизнь другая настала – чего они знают?..

Домой пришла. Разговор начинаю:

– У нас в цеху в очередь некоторые встали – на телевизор. Триста сорок восемь рублей.

– Старыми? – Ариадна уточняет.

– Да какое, – говорю, – новыми.

– Батюшки! – Гликерия руками всплеснула. – По-старому три с половиной тыщи.

– Телевизор-то, – говорю, – тоже новый, без линзы, показывает как в кино. Может, и нам встать? А что? Передачи бывают хорошие: и взрослым, и для детей. Пока ждем, помаленьку и накопим: если каждый месяц откладывать – рублей хоть по тридцать. К Евдокии Тимофеевне поставим: вроде свой красный уголок. Вечером сядете, будете новости глядеть: где да что в мире происходит. В Америке там или... в Венгрии... И Сюзанночка посмотрит – ей же в школу идти...

Молчат.

– Ну, – говорю, – думайте пока. Сюзанночка радио любит, а телевизор еще и лучше.

Евдокия ворчит:

– Газеты, радио – все им мало. Теперь телевизор выдумали. Скоро в яйцо куриное заберутся.

– Зачем же так, – Ариадна ее укоряет. – Разве плохо передачу хорошую посмотреть?

– А ты, гляжу, за долгую жизнь не насмотрелась... А мне уж хватит. Сын мой тоже. Газеты все читал. «Надо, – говорит, – мамаша, всегда быть в курсе». Ага, думаю... Только курс-то ихний известный: читай, не читай – все одно не минует.

– Тебя послушать, до сих пор бы жили в каменном веке. Так лучину бы и жгли.

– Ну и жгли бы, – Евдокия плечами пожимает. – Кому она мешала – лучина-то?

Мама в комнату заглядывает:

– А ну-ка иди, я печку разожгла. На огонек полюбуешься.

Побежала, маленький стульчик приставила, села против дверцы.

Мама говорит:

– Гляди, осторожно. Близко не подвигайся. Вот телевизор купим – тогда уж наглядишься. В телевизоре тоже как будто дверца, только другая, стеклянная. Называется экран. В электричество включат, глядь, а там огонек занимается, как звездочка, а потом вдруг вспыхнет, и картинки разные бегут: чудеса... Показывают, рассказывают: где, да что, да как людям живется. Другие-то смотрят, а сами ума набираются. Вот и ты насмотришься, а потом и в школу пойдешь. Учительница тебя спросит: «Встань, Беспалова Сюзанна, ответь: знаешь ли, что такое кукольный театр?» А ты и ответишь: «Конечно, знаю. Я по телевизору видела. Там куколки такие хорошие. Которые из дерева, а которые из тряпок. Вот им пальцы внутрь-то засунут, а они знай представляются: то плачут, то смеются. Как живые». Тут она обрадуется: «Садись, – скажет, – Сюзанна Беспалова. Ставлю тебе пятерку». А дети тоже удивятся: «Надо же! В детский садик не ходила, а сама все знает»...

Мама дверку распахнула, кочергой в печке шевелит. А жар от печки горячий, прямо в глаза бьет. Дверку заложила, глазки рукой вытирает.

– Ничего, – плачет, – не бойся. Все хорошо у нас будет. Ну, поди к бабушкам...

– Ну, – бабушка Евдокия пуговички расстегивает, – и на чем вы с бабушкой Гликерией остановились? Ох, – вздыхает, – голова моя садовая, ничего не помнит. А... – говорит, – вспомнила. Мачеха-то ее из дома выгнала. Пусть, мол, в лесу пропадает.

Платьице на спинку повесила, сама на краешек села.

«Вот она живет в лесу, а у мачехи этой было зеркало, да не простое, а волшебное. Глянешь в него, всю страну видать: что, да где, да кто как поживает. Вот мачеха его и спрашивает: “Как там моя падчерица? Неужто без меня хорошо живет?” А зеркало как вспыхнет: “Хорошо, – отвечает, – ей живется. Живет, не тужит. День ото дня краше становится”. Тут мачеха озлилась, бабу кухонную зовет. “Поди, – велит, – вырядись странницей, а я тебе платье красивое дам, ядом его напитаю –

ты моей падчерице его и подари”. Баба платочек повязала, женщиной доброй прикинулась, да в лес этот и пошла.

Вот охотники возвращаются, а в доме что-то неладно. Входят, а сестрица их на полу распростерши. Лежит, не дышит. Долго они глядели-присматривались, а про платье и не подумали. Чтобы его снять. Погоревали, да делать нечего: смастерили гроб стеклянный на железных цепях. Девушка в нем лежит, сама будто живая. А мачеха никак не уймется, снова страну свою оглядывает – зеркало пытает: “Что ж там моя падчерица? Навсегда ль умерла?..”»

– Спишь, что ли? Ну и ладно, вот и спи пока...

* * *

– Ну, – Евдокия начинает, – думайте с этим телевизором.

Утро раннее, серенькое. «У микрофона Мария Григорьевна Петрова». Величают по отчеству, а голосок слабенький, детский, будто и жизни не жила. Таким-то голоском в самый раз сказки рассказывать.

Софья на стульчике замерла – слушает.

– Да дорого больно, – сомневается Гликерия, – прямо и не знаешь...

– Другие ведь как-то покупают. Антонина говорит, в очереди стоят.

– Так, может, денег у них много? Куры, видать, не клюют.

– Откуда?.. – Гликерия рукой машет. – Теперь господ нету: на зарплату живут либо на пенсию.

– Не скажи, – Евдокия бутылку взяла, молока в чай плеснула. – Помнишь, в сорок четвертом-то? Блокаду едва сняли – бабу к нам привезли. Сама толстая, сытая... – Чаю хлебнула, сморщилась, будто кисло ей.

– Скисло, что ли? – Гликерия напугалась.

Молчит. Уткнулась в чашку.

– А мальчонка у ней еле живой родился. Доктор определил – жиром своим задушила. Муж еще к ней ходил, по всему видать – знатный. Передачи носил бога-атые. Вот она закроется под одеялом и жрет.

– Помню, – Гликерия вздыхает, – как же не помнить: колбасой-то как пахло... Несешь передачу, голова кру?гом – хоть в обморок велись. Выписываться стала, я ей одежу принесла, а она мне ломтик сует – вроде в благодарность. Вышла я, в уборной от всех закрылась – проглотила. Кусочек-то маахонький. И часа ведь не прошло – вырвало. Прямо куском и вышел. Что же это со мной, думаю? Неужто человеческую еду не принимаю? Привыкла к жмыху...

– Человеческую... – Евдокия опять морщится. – Какая ж она человеческая? Люди-то хлеб ели... Ну маргарин когда. А то ведь и клей обойный. И хорошо еще, если клей. В первую зиму кончился. Сосед у меня, мальчонка, так и вовсе уголь грыз. Достанет из печки и грызет. Так и помер с головешкой. Рука мерзлая, а сам-то держит, держит... Разжали едва. И рот черным измазанный... Колбаса у ней, видать, испортилась, вот она гнилье и отдала.

– Ох как пахло! – Гликерия будто и не слышит. – А после войны-то, когда в магазине появилась, я ведь до-олго не могла. Как понюхаю колбасу, прямо изнутри подступает... Ох, – опомнилась, – не к столу...

Ариадна хитрая, разговор переводит:

– Соломона Захаровича помнишь?

– Ну как же! – А сама смеется меленько, аж покраснела.

– Еще бы, – Евдокия фыркает, – ей не помнить! У них же в войну – шуры-муры...

– Да какие там! – машет. – Что он, что я – живые покойники. Так... Разве – поговорить...

– А после войны? – Ариадна в чашке мешает, глаза отвела притворно.

– Виделись, – кивает. – Замуж меня звал. Жена у него погибла – к матери перед самой войной поехала. В Белоруссию, что ли... А обратно и не вырвалась – осталась под немцем.

– Ну а ты чего? – Евдокия жевать бросила, слушает.

– Так детки у него. Двое. Подумала, подумала. Не пошла на детей. Мужик-то он неплохой, и врач уж очень хороший. А все равно не решилась. Жалела его – это правда. Он когда еще говорил: вот войдут в Ленинград, меня с девочками первыми расстреляют. Я еще, дура, не верила: думала, все под немцем одинаковые.

– Ихняя нация, – Евдокия сердится, – хоть от немца... А наша все больше – от себя. Воистину сами себе – первый враг. Чужие-то только задумать успеют, а мы уж, глядь, и сделали. Против немцев-то мы – герои. Вот бы так – против себя...

– Ну как же можно! – Ариадна прямо расстроилась. – Сама не знаешь, что говоришь. Грех с немцами сравнивать!..

– А ты, – ворчит, – прислушайся. Ежели своего ума не хватает... Ладно. Хватит чаевничать. Ребенку гулять пора.

На улице совсем распогодилось.

– Ну, – бабушка Евдокия спрашивает, – дойдем до мостика? Поглядим, вдруг елки привезли?

Подходим, а с той стороны – загородка. За ней елки, лапами топорщатся. Дядька чужой караулит.

Елки худые, тощие. Иглы на землю рассыпались. В лесу другие, пушистые – как на картинке.

Бабушка говорит:

– Ох и елки! Откуда ж они берутся такие – палки одни... Уж не знаю, – сомневается, – что и делать. Может, взять, пока народу мало. А то с работы пойдут и эти расхватают.

Дядька калитку открыл: «Выбирайте».

Ходим меж елок, смотрим. Бабушка Евдокия сердится:

– Елки-то мертвые... В прошлом году, что ли, срубили?.. – Выбрала вроде. – Эту, – велит, – давай.

Дядька ловкий: петлю на елку набросил, спеленал. На санки кинул – везите.

– Вот, – бабушка говорит, – дотащим с тобой, под лестницу и спрячем: мне на этаж не поднять. Мать с работы вернется, пусть сама тянет...

– Ну, – бабушка Гликерия встречает, – где ходили, что видели?

– Елку, скажи, купили, под лестницей спрятали. Насилу и выбрали. Иголки так и сыплятся, будто год у них пролежала.

В комнату пошла, цветные карандаши достаю. Бабушка Ариадна кивает:

– Молодец. Елочку красивую нарисуй.

Красивая елка, пушистая. На ветках шары большие, корзиночки конфетные. А между ними инвалиды безногие – на крючках. Им на том свете не больно. Висят, не мучаются, отдыхают...

Только место внизу осталось. Канал пририсовала. Решетка у него черная, и мы с бабушкой идем. А в санках у нас елка спеленатая, мертвая: год как пролежала. Это с того света отдали: сами попразднуют и нам отдают. Глаза зажмурила – буквы большие вижу. Нет. Нельзя писать. Опять заругают.

В кухню побежала. Бабушка Ариадна говорит:

– Очень красивая картинка! Все правильно: елку привезли, теперь разукрасим.

– Господи, – бабушка Евдокия заглядывает, – чего это у тебя там, в санках? Будто покойник какой. Чего, – говорит, – улыбаешься? Вот так-то и возили в блокаду. В рогожу завернут, на санки положат и везут. Идешь, смотришь: маленький, значит, ребеночек. Сколько их в первую зиму-то свезли...

– Во вторую, – Ариадна вздыхает, – не меньше.

– Больше, – ворчит, – меньше... Кто ж их тогда считал...

* * *

– Да-а, – Евдокия головой качает, – хорош...

– Там еще красненький был, да я этот выбрала. – Мама на диване разложила, любуется.

Бабушки стоят, кивают:

– Еще бы! Красный – ни в какое сравнение.

– Шерстка мягонькая, – мама рукой гладит, – прямо как теленочек. Мы ведь до войны корову держали. Потом зарезать пришлось.

– Вот тебе и китайцы... – бабушка Евдокия вздыхает. – Раньше-то и не слышно про них: все японцы, да японцы. А они, гляди-ка, чему научились.

– Как это – не слышно! – бабушка Ариадна заступается. – Китайцы – народ древний. Почти пятьдесят веков.

– Вот-вот... Еще пятьдесят пройдет, глядь, и мы чему-нибудь научимся.

– Да нешто не умели! – бабушка Гликерия руками всплеснула. – Всё мы умели! Раньше какую красоту делали: и вышивки золотые, и кружева... Блузки плоеные, шляпки, рубашки шелковые, подзоры – графиня моя, покойница, нашу работу предпочитала...

– Ой, – вспомнила, – ленты-то! Я же ленты еще купила.

– Прямо и не знаю, – бабушка Гликерия ленты разглаживает, – форменная принцесса... Самой-то как, нравится?

– Ладно, – мама говорит, – вы уж наряжайтесь, а я картошки почищу.

– Ну, – бабушка Евдокия командует, – скидай платье.

– Вот, – Гликерия в кухню выводит, – пусть мать-то полюбуется.

– Батюшки! – изумляюсь. – Чья же это девочка такая в костюмчике – и не узнать! Неужто доченька моя ро?дная?

– Она, – Гликерия радуется, – она. Вот ленты в голову вплетем, тогда и в театр можно.

Картошку слила, ужинать сели.

– Ну что там, – спрашиваю, – решили про телевизор?

– Решили, – Евдокия за всех отвечает, – вставай.

– А я вот, – створку оконную распахнула: холодно между окон – масло хорошо стоит. – По Гостиному шла, отдел у них большой – ткани. Ох, и материалов! И шерсть, и ситец, и штапель... Может, и мне какое

сварганить, фланелевое? Мое-то совсем старое – светится на локтях.

– Что ж, – Евдокия отвечает, – дело хозяйское. Разбогатела, гляжу.

– Ладно, – опомнилась, – это ж я так, на будущее.

– Да чего это я! – Евдокия спохватилась. – Совсем из головы вон. Елку сегодня купили. Под лестницей на санках привязана. Ты уж сходи, забери.

Посуду помыла, прислушалась: уснули вроде... Ладно, передохну маленько, потом уж притащу. Глаза закрыла: материи эти висят. И женщины ходят – щупают. Вроде сами и не молоденькие, а одеты хорошо. Видно, мужья зарабатывают. Одна-то особенно. На пальто себе выбирала. Сама в шубе, а еще и на пальто. С родственницей, видать, пришли. Тоже богатая. Советуются. Подошла, посмотрела: батюшки, восемнадцать рублей за метр. Что ж это, зарплаты у них такие – по эдакой цене покупать?..

Вниз спустилась, а там – темень. Вот паразиты, думаю! Снова лампочку вышибли. Парни дворовые, хулиганят... Влезла под лестницу, нашарила. Все руки себе исколола.

Гликерия в комнату зашла. Стоит, мнется.

– Чего хотела-то... Фланель эта – почем, например, за метр?

– Так, разная, – отвечаю. – Которая с цветами да поплотнее – дорогая. По два сорок пять.

– Новыми?

– Конечно, – говорю. – Теперь всё – новыми.

Стоит, губами шевелит:

– Три метра – семь рублей, считай... А та, другая, что пожиже?

– Пожиже-то, – отвечаю, – бумазея, по рубль сорок. Совсем внатруску и маркая очень.

– Ты вот что, – в юбке пошарила, кошелек достает. – Теперь у меня рубль восемьдесят только. Пенсию на днях принесут. Съезди, купи два отреза, сама выбери, которая получше. А я сошью – и тебе, и себе. Одинаковой только возьми: лоскутки останутся, передничек еще соберу.

– Сюзанночке? Ей-то, – говорю, – зачем? Неужто с детства к венику прилаживать?

– А с какого же еще? Вырастет – поздно будет. Меня вон с каких в белошвейки готовили...

Смолчала, а сама думаю: женщин этих, небось, не приучали. Вот и выросли барынями. Жизнь-то, она зоркая – с самого детства примечает...

Спать ложиться стала, а сама считаю: костюмчик дорого встал. Думала, рублей шесть, а тут – девять восемьдесят. Считай, все десять. Снова сверхурочные придется... Мастер уж и смеется: «Ох, и жадная ты, Беспалова! И сама вроде получаешь, и премии опять же, и у матери твоей пенсия – неужто не хватает? Девку свою на золоте, что ли, кормишь?» – «Ага, – отвечаю, – Игнатий Михалыч, на золоте да на серебре». Кому это объяснишь, что четверо на шее? «Принцессу, – говорит, – ро?стишь? Ты уж, – говорит, – прости, если не так скажу. Женщина ты молодая. Может, и замуж выйдешь. Это ведь как случай подвернется. А семья любому нужна». – «Да кому я, – смеюсь, – сдалась? Немолодая, да с этаким привеском?» – «Не скажи, – хмурится. – Вон Николай с гальваники. Я уж давно замечаю – приглядывается он к тебе. А чего? Мужик он хороший,

скромный: не курит, не пьет почти. Вот я и говорю: ты хоть голову, что ли, прибери, оденься как следует, а то ходишь – чумичка чумичкой. Вдруг и сладится у вас...»

Вот-вот, думаю: вдруг – под рундук...

Створку распахнула, а зеркало плохое, мутное, едва видать. И лицо-то у меня серое, и синь под глазами. «Что ж это, – гадаю, – за Николай такой?» Вроде всех перебрала с гальваники. А нет, не вспомню...

Глаза открыла – мама у створки стоит, причесывается. Снова на тот свет собирается. Там хорошо, празднично...

Расческу отложила. Вытерла слезки...

* * *

– Может, – бабушка Ариадна кряхтит, – в землю бы и лучше? Насадить на крестовину и – в песок.

– С крестовиной-то разве пихнешь? Ведерко больно маленькое, – бабушка Евдокия елку держит, примеривается. – Песочку на дно подсыпем и – ладно. Как запрошлый год.

– Ты-то хоть уйди, не крутись, – бабушка Гликерия отгоняет, – ручки себе наколешь.

Иголки так и сыпятся. Нагнулась, с полу подняла. Иголка рыжая, ржавая. Будто гвоздик маленький...

– Батюшки! – Гликерия вскрикнула. – Глядите, палец себе распорола!

– Йодом надо, йодом! – Евдокия к шкафчику кинулась. – Елка-то грязная, незнамо где валялась...

Намазали, бинтом замотали. Бабушка Ариадна к дивану повела:

– Сиди смирно.

Сижу, глаза закрыла. А палец наколотый болит.

Вот засну, думаю. А иголка эта ядовитая. Через сто лет проснусь...

Бабушка как говорила? Через двадцать лет кончится. Проснусь, а ничего нету. Только эти лежат, огромные, каменные. На куски рассыпались, ногами пустыми шевелят. А ведьма злая в карете едет. Глядь, а куски-то рассыпанные – никак не объедешь... Палку свою взяла, Ворона Вороновича погоняет. А он и рад бы, да проволоки железные торчат. Тащит, тащит, а они за ноги цепляются... А ведьма ему кричит: «Взлетай!» Вот он крылья распустил. Летит, сверху смотрит: девочка уколотая спит. А вокруг пусто: все на тот свет ушли, и бабушки, и мама... Проснется, оглянется: одна она осталась. И нету у нее никого...

– Батюшки-светы, – бабушка Евдокия елку бросила, ко мне идет. – И чего это ты расплакалась? Кто ж тебя обидел? Полно, голубок, слезы лить. Болит пальчик-то? – Села, обнимает.

– Это она думает: наказали ее.

– Да кто ж тебя накажет? Посиди, – говорит, – тихонечко. Пальчик пройдет, станем елку наряжать.

Бабушка Евдокия пахнет сухо, сладко. Уткнешься – и не страшно. Ничего, что одна. Я к ним на тот свет приду. Поживу маленько и приду...

– Ну вот, – бабушка Евдокия говорит, – и высохли твои слезы. Слезай-ка с дивана, тапки надевай...

– Ох, – Гликерия озирается. – А на ноги что? У нее ж тапочки, да валенки, да ботики старые – на осень. А в театр туфельки надо – в валенках-то не пустят. У барыни моей, ох, и туфли были! Вышитые... Я и вышивала.

– Правда, – Евдокия задумалась. – Невестка в туфлях ходила. Тоже барыня... Бурки-то не наденет. В своем магазине брали – для партейных. Я ей: «Хорошо, – говорю, – живете. Будто особые. Видать, из другого места родились». А она мне: «Это, – мол, – за партейные заслуги». А я: «Ну-ну, гуляйте, пока воля ваша. Все, вишь, у вас особое. Кроме смерти». А она смеется: «Нам, – дескать, – смерть не ко времени... Ну ее к богу, эту вашу смерть»...

– Была б у меня колодочка, мигом бы сварганила, – Гликерия раздумывает, прикидывает. – Кожи только найти на подошву. Хоть бы какой кусочек».

– Во-во, – Евдокия опять недовольна. – Тебе волю дай – и станок ткацкий притащишь... Матери сказать надо. Пусть в магазине посмотрит. Мало ли, может, всем теперь продают...

– Гостиный, – Ариадна вступает, – большой. У отца магазин был. Бывало, покупатель чем-нибудь интересуется, а в магазине этого нету, так они на склад сходят, посмотрят. Склад тоже близко – прямо за Думой...

– Баловство все, – Евдокия как отрезала. – И в валенках посидит. В театре в вашем... Я-то про другое думаю: Антонина, ох, неспроста завела! Про платье-то про это. Как бы с кем не снюхалась... А то гляди...

– Ну и что такого? – Гликерия заступается. – Дело молодое – ниткой не зашьешь.

– Если что, пусть к мужу уходит, лишь бы Софья с нами осталась, – Ариадна шарик серебряный взяла.

– К мужу! – Евдокия головой крутит. – Это б еще полбеды... А в подоле принесет?

– Так объяснить надо. По умному сделает – ничего и не будет, – Гликерия корзиночку отложила, за птичку взялась.

– Ты-то откуда знаешь?

– Так чего? Дело ведь нехитрое. Мне Соломон Захарыч все разъяснил.

– Ну?! – Евдокия руками всплеснула. – Давай-ка и нам разъясни.

Шепчутся, шепчутся. Ничего не разобрать.

– Да-а... Ну ты, Гликерия, и шлюха...

– А ты у нас, – бабушка Гликерия закраснелась, – жизнь прожила, а все гляжу – девка.

– Девка – не девка, а себя соблюдала. Родила, сколько бог послал.

– А я вот, может, и радуюсь, что нету у меня детей. Чего на смерть рожать?

– Дура ты! – Евдокия аж притопнула. – Баба-то бездетная – пустоцвет.

– Ничего, – платок с головы сняла, волосы пригладила. – Господь, Он ведь все видит: внучку послал на старость. Правда, – оборачивается, – Софьюшка?

Правда. Как в сказке про Снегурочку... Она еще в небо улетела, когда с детьми чужими играла. Они в лесу собираются, песни свои поют. Про

кораблик, про синие ночи. По радио всегда передают. А в яме костер горит, жар подымается. Снегурочка тоже сперва боялась: не буду, думает, прыгать. А пионеры кричат: прыгай, прыгай! Она и прыгнула...

Евдокия стул подолом обмела.

– Может, – говорит, – и твоя правда. Рожаем, а не знаем, как им потом пропадать...

За стол села, бумажки перекладывает. И монеток целая горка. Которые помельче – серебряные, а другие, побольше – рыжие. Это такая пенсия. Почтальонка приносит. Сама большая, ноги у нее толстые, и сумка через плечо. Приходит и сразу в комнату. Везде наследит, а бабушки ее не ругают.

Евдокия сидит, прикидывает:

– Не привыкну к новым-то деньгам. Обещались, будто не потеряем. А теперь гляжу: раньше рублей пятнадцать за елку платили, а этот год – два. Если старыми, вроде пять рублей переплачиваем. Вот я и думаю: то ли я дура непонятная, то ли они шибко умные – мимо рта не пронесут...

– Хлебушек-то ничего, – Гликерия вступается, – слава богу, не вырос. Как был рубль сорок, так и есть. Четырнадцать копеек по новому.

– Ну поглядим еще, – кошелек закрывает, – как оно дальше пойдет.

* * *

Молоко в перерыв выдали. Бутылку взяла и – в раздевалку. Как раз мимо гальваники. Заглянула, будто бы случайно. Вспомнила его: невзрачный такой. Тоже меня заметил. «Ну и ладно, – думаю, – мне-то чего... Заглянула и заглянула: за погляд денег не берут»...

Молоко в сумку спрятала. Сегодня можно, Федосьевна на проходной. Она баба хорошая: по сумкам у нас не шарит. Другие чуть не ощупывают. Выносить-то нельзя. Сами, велят, пейте. Кто бездетные или замужние – сами и пьют. Раньше тоже пила, а последнее время воротит. Прямо тошнит от этого молока...

За проходную вышла, гляжу: догоняет. «Как, – спрашивает, – дела?» – «Дела, – говорю, – все при мне – сами собой не переделаются». – «А чего ж неприветная такая, раз дела твои при тебе?» – «Да устала чего-то, – отвечаю. – После смены, так прямо сил никаких». – «Так, – смеется, – значит, отдохнуть пора. В кино-то любишь ходить?» – «В кино, – говорю, – я уж находилась». А сама думаю: на всю жизнь.

«Зря ты, – пеняет, – Антонина. Я к тебе не как-нибудь, по-хорошему». – «Ну, – говорю, – прощай покуда. Мне в Гостиный».

На троллейбус села, а в окошко гляжу: вон он стоит. Рукой мне машет. Не то чтобы, думаю, невзрачный: улыбнется – вроде и ничего себе.

По Невскому еду, а сама все думаю: уж покупать, так чего поярче. Или, может, цветами... Вон Надька Казанкина летомто явилась – цветы крупные, оранжевые. Рукой проведешь: чистый шелк. Штапель, еще хвастала. И по подолу – кайма. Господи, вспомнила, мне же одинаковой наказали: Гликерия в цветах не наденет.

Штапель, конечно, дороже. Надьку сегодня видела, да постеснялась спросить. Совсем на смех подымет: бабе под тридцать, а туда же – в штапели наряжаться. Потом-то отговорюсь как-нибудь: мать, совру,

подарила. Не откажешься от материна подарка.

Да вон же он висит! Подойти, думаю, прицениться.

Гляжу, женщина нарядная, с продавщицей разговаривают:

– Если на платье, тогда, конечно, «Аврору». Лучше ничего нету – чистая шерсть. Дорого, но и сносу не будет. Сто лет проносите, а все как новое. На платья ее, на юбки берут, мужчинам на костюмы.

Мимо прошла, на цену глянула – аж в глазах потемнело: двадцать шесть рублей. Неужто, думаю, новыми?

А женщина нарядная кивает:

– Пожалуй, темно-зеленой возьму. Два с половиной метра.

Продавщица улыбается, будто себе на платье выбрала. Принесла, пустила по прилавку. Материя-то огнем горит, светится прямо. Ну и пусть, думаю... А я штапеля куплю.

– Все, – ко мне повернулась, – вывешено. – Плечиком пожала: – Выбирайте. Вам, – оглядела меня, – нарядное или на каждый день?

«Нарядное, – думаю, – нарядное».

– Нет, – отвечаю, – на каждый день.

Приблизилась, а штапель этот: три двадцать. «И пусть, – не решаюсь пока. – Гликерии не стану признаваться, а разницу сама доложу». Стою – глаза разбегаются: вроде все нарядные.

– Мне, – указываю, – на два платья режьте. Вон в этот цветочек.

Домой вернулась.

– Ну, – Гликерия торопит, – разворачивай.

Развернула, по кровати раскинула: цветочки меленькие, маки. Пестрят по синему полю. Гликерия как увидела – за сердце взялась:

– Ох, – вздыхает, – красота неописуемая – хоть сейчас помирай. Завтра же, – обещает, – начну. Мерки только снимем. А ты вот чего...

– Чего, – удивилась, – пуговиц, что ли, купить?

– Нет, – головой качает, – есть у меня пуговицы. Завтра машинку достану, мигом сошью.

– Может, – засомневалась, – нехорошо одинаковые... Вроде как из детского дома.

– Батюшки, – на меня машет. – Да неужто я носить стану? Это ты носи.

– Зачем же шить, если носить не будете?

– А как же, – говорит, – в старье? В старье, небось, не предстанешь. Вот сошью, в шкафчик к себе запрячу. Пусть пока полежит. У меня уж все приготовлено: и подушечка, и подзор.

«Господи, – думаю, – как же я платье это надену? Молчала бы уж лучше... А то будто и мне – в гроб. Знать бы, разной материи купила. Ох, – вспомнила. – Она ж и передничек собиралась, Сюзанночке, из лоскутков. Ну уж нет! Я-то еще ладно, а ребенка – не дам. Сошьет – на помойку выкину или – еще лучше – спалю. Будто и не было. Нечего ей ходить в гробовом».

– Я ведь чего хотела... – стоит, не уходит. – Жизнь наша, она ведь по-всякому складывается. Пока молодая. Мало ли, кто-нибудь понравится или ты ему. В жизни всяко бывает, а головы не теряй. Одну, бог даст, мы уж вырастим, а более не в силах. Вот и слушай: мало ли, до чего у вас дойдет, а ты уксусу загодя купи или аспирину. В воде раствори. Возьми

клочок ваты – ниткой перемотай да в воду эту и окуни. Вату-то заранее пихнешь, а нитка длинная – наружу высовывается. Вот кончится у вас, а ты помни: минутку-другую подожди да и вытягивай наружу. Поняла ли? – спрашивает.

Я глаза опустила. Киваю: «Поняла».

Стою, а сама думаю: «Батюшки, стыд-то какой... Кто ж это все выдумывает? Неужто и другие пользуются? Нет, – думаю, – не может этого быть...»

На кухню вышла, а самой глаз не поднять.

– Вы, – говорю, – молоко-то перелейте.

Сюзанночка за столом сидит, сырок свой разворачивает. Любит эти – творожные.

Евдокия обернулась:

– Возня с этими бутылками. И страху натерпишься, пока через проходную-то. Взяла бы хоть, что ли, грелку. Пробкой закрутила, пихнула под платье – и иди свободно. В блокаду вон, рассказывали, одна на хлебзаводе работала, так теста под груди налепит и идет. Охрана по бокам прохлопает, а под грудь не догадывались. Обоих детей спасла.

– Так, – сомневаюсь, – резиной завоняется, разве станете пить?

– Ничего, – рукой машет, – не баре. Прокипятим, и выдохнется. На кашу-то и сгодится, а ребенку магазинного купишь.

* * *

Баня далеко, на Фонарном переулке. Зимой лед, сугробы страшенные – старухам не дойти... Так-то ничего: и раковина тут, и плита. Газом прогреем, на плите ведра кипят. Снизу бадейка с холодной. Грязную в раковину сливаю, тоже удобно. А в бане устаю. Пока всех перемоешь – ни жива ни мертва сделаешься. Дома всяко лучше...

Ведра греться поставила.

– Готовьтесь, – говорю. – А я постельное поменяю.

Раз в две недели меняем – не настираешься чаще.

Гликерия пошла, посмотрела:

– Пододеяльник вроде не грязный. Ты наволочку мне только смени да простынь.

Стелить стала, прямо как ожгло. Разговор-то она завела... Неужто прознали бабки? Нет же ничего...

Бабушка Евдокия зовет:

– Иди, голубок, голову расчешем, а то после бани высохнут – одни колтуны. В воскресенье-то в театр – не забыла.

Бабушка Ариадна отвечает:

– Конечно, помнит. Про принцессу Аврору. Поваренок помнишь какой! Так и заснул у плиты...

Мама чистое белье несет:

– Принцесса... А я и не поняла сперва: в Гостином шерсть продают – тоже «Аврора». Прямо, говорят, сносу нет. На сто лет обещают...

Грязное белье собрала, ушла.

Бабушка Евдокия гребенку отложила – прядки разбирает.

– Ишь, – ворчит, – на сто лет, значит... На век цельный рассчитывают. Ладно, поглядим... Царское-то разворуют, а дальше чего делать?.. Ну, что вертишься? Смирно стой, не вертись!

В кухне жара – белый пар от ведер. Конфорки горят. Лампа под потолком желтая – еле видно. Качается на шнуре. По потолку тени, как крылья. Окна темные, потные, змейки по стеклам.

– Ну давай, – мама ковшик взяла, воду в ведре шевелит. Плеснула на плиту – она и шипит, как змея... – Вперед голову над тазом. Ох, – жалуется, – волосы какие густые – в одной воде не промыть. Вырастешь, гляди, береги – отхватитьто недолго. Вон девки у нас в цеху – все поотрезали, завивку модную навертели: перманент. Раз сделаешь, другой, а потом и полезут клочьями. В коротких-то ничего нету – ни памяти, ни силы. Раньше ведь как говорили: короткий волос – короткая память. А зачем тебе короткая? У тебя до-олгая будет...

Окатила, в корыто поставила, мочалкой мыльной трет.

Бабушка Евдокия заглядывает:

– Ох, и натопила! Ну, скоро у вас? Я уж все приготовила – одевать.

– А мы и заканчиваем... Разок ополоснемся – и будет с нас. Эх, с гуся вода, а с Сюзанночки худоба! – подхватила, на табуретку поставила. Полотенцем вытирает, дышит часто. – Вот вам девочка чистенькая – принимайте.

Ковшиком корыто вычерпала, ополоснула.

– Ну, решайтесь, которая первая.

Евдокия говорит:

– Одену, уложу – потом уж. Пусть Гликерия сперва.

Пришла, разделась. Худая, все ребра наружу. Над тазом склонилась, титьки тряпочками висят. Глядеть страшно, прямо как смерть. Сколько лет мою, а все не привыкну. Мать-то, покойница, жилистая была. Городские эти – будто выболевшие.

Голову подняла.

– Чего, – спрашивает, – смотришь? Сама такая будешь, как время придет. Так-то день за днем, они и тянутся вроде. Обернешься – вон же она стоит, смерть. Всякий день Господа молю, пусть бы прибрал в одночасье...

– Кушать, – утешаю, – вам надо. Что ж вы такое: все чай да чай...

– Да я, – дышит тяжело, – кушаю, только тело уже не принимает. Зажилась, видно, на свете – девочка одна и держит.

Бабушка Евдокия кровать распахнула.

– Ложись, – говорит, – пока. Из театра в воскресенье вернешься, а там и Новый год. Наступит, глядь, а у нас уж все готово. Мать пирогов обещала. Мучки новой получим, напекет. Пирожки мягкие, сами в рот прыгают. А за ним и другой праздник – Рождество... А дальше и весна близко – жаворонков станем печь. Напекем, в церковь с тобой сходим: надо и нищих угостить. Не все, как мы, счастливые, чтобы умереть в спокое. Таких-то мало...

В церковь пойдем, а эти, с ножищами каменными, навстречу: идут, смеются. «Вон, – пустыми пальцами тыкают, – нищенка, а была – принцесса. Мы, – хвастают, – все у нее украли». А бабушка ее пожалеет, жаворонка даст...

– Я-то, – бабушка Евдокия жалуется, – грешница. Многих возненавидела. Вот Он и держит меня, не пускает помереть. Дожидается, видно, пока сердце мое отмякнет, будто какой сухарь. На тот свет-то надо размякши, а как, – говорит, – забудешь? Душа-то, небось, не тело: мылом

не отмыть...

– Ты, Тонечка, – Ариадна просит, – спину мне потри хорошенько, а то самой не достать.

«Господи, – думаю, – спина у ней, видно, чешется – совсем нежная кожа».

– Вы, – говорю, – Ариадна Кузьминишна, сами не расчесывайте – вон следы от ногтей...

Вытерлась, голову полотенцем завертела – к себе пошла.

Евдокия заходит:

– Проветрить тут надо. – Носом повела: – Грязью шибко пахнет. Страсть не люблю эту вонь...

– Как же, – спрашиваю, – откроем? Вмиг с улицы выстудит. Кашель еще подхватите – на улице-то мороз.

– Ладно, – рукой махнула, – так помоюсь. Я уж сама потру, ты только слей.

Разделась. Вроде и в теле, да, гляжу, ослабла совсем. Прошлый год крепче была. Сливаю, спрашиваю:

– Как же вы в больнице терпели, если грязью человеческой брезгаете? Больные-то сильнее воняют.

– Да там, – отвечает, – холодно. На холоде и вонь слабже...

Всех намыла, в комнату пошла, прилегла на кровать. «Вот платье-то будет, может, и я в театр схожу. Сколько лет в городе живу, а ведь так ни разу и не бывала».

Сюзанночка не ворохнется. Намылась, крепко спит.

* * *

– Вот, гляди, – бабушка Гликерия мешочек подает, – тут тебе и сахарок, и булочки кусочек. Проголодаешься, скушай, только смотри, потихоньку, чтобы другим не мешать. А мало ли бабушка Аглая чего предложит, так ты откажись. Кто их знает, какая у них еда, в этих театрах...

Шапочка мягонькая. Рейтузы розовые из-под пальто. Бабушка Евдокия говорит

– Отведу и вернусь.

– Вы уж не спутайте, – мама боится. – Прошлый раз в конторе давали, теперь – в подвал пойдем.

Двери высокие, деревянные... Зашли, а бабушка Аглая поджидает.

– Ну, – приглашает, – идем со мной, я тебя на лучшие места посажу – как принцессу.

Коридор длинный.

– Пошли, – за руку ведет, – в директорскую ложу попробуем. Только сходим за сцену. С ведущей договориться.

По лесенке поднялись.

– Осторожно, – говорит, – чтобы не споткнуться.

Голову подняла, а наверху веревки толстые: шевелятся, будто змеи... И дядька страшный навстречу. Борода рыжая, растрепанная...

– Это, – объясняет, – артист. Много их тут ходит.

Гляжу, стена мимо ползет. Артисты эти ухватились: кричат, тянут.

Бабушка Аглая говорит:

– Это у них декорация. Видишь, деревья нарисованы и дом большой. Вот заснут все, а лес этот и поднимется. Все кругом зарастет – сама увидишь...

Женщина в уголке сидит, в платок закуталась.

– Вот, Александра Дмитриевна, – бабушка Аглая в спину меня подталкивает. – Внучка моя. Двоюродная. Позвольте в директорскую ложу...

На меня поглядела:

– Хорошая девочка... Первый раз в театре?

Бабушка Аглая к ней склоняется, шепчет, шепчет, на горло свое показывает. Болит у нее, верно.

Женщина в книжку заглянула.

– Боже мой... – Головкой качает. – Конечно, сажайте, Аглая Михайловна. Утром никого не ждем...

Комнатка маленькая, стулья красные стоят, между ними столик. На столике коробка нарядная.

– Возьми конфетку, – бабушка Аглая угощает. – Да не стесняйся. Очень вкусный шоколад. Вчера за гостями закрывала – одну попробовала. Прямо тает во рту...

Конфету в рот сунула – разжевала. Сладко во рту. Наружу выглянула, а там огни горят. Люстра на потолке, будто елка. И стены такие высокие... А балконы совсем золотые, прямо до потолка. Всюду люди. Сидят, бумажками белыми обмахиваются...

Свет гаснет, гаснет... Занавес движется, дрожит...

Девочку маленькую вынесли, кладут в колыбельку. Феи нежные, прозрачные. Платья у них как перышки, а за спиной – крылья. Танцуют, крылышками трепещут... А музыка вокруг темная. Вон же она... колдунья... Вороны Вороновичи везут, карету перед собой толкают. Ручищи у них когтистые. А она из кареты вылезла – прыгает, грозит...

В подвал спустились. Народу как сельдей в бочке. Тетка сквозь очередь пробивается – номера на руках пишет. «Мне, – говорю, – на обеих пишите – у нас запаздывает одна». – «Видали, запаздывает у них... Вовремя приходить надо: так-то все себе понапишут...»

Стены низкие. Окошки фанерой заколочены. Душно – не продохнуть. Впереди ребенок заплакал. Ариадна платок сняла – испарину со лба стирает. «Часа три, – шепчет, – простоим»...

Голова у меня болит, будто гвозди в нее заколачивают. Голоса громкие, никак не уймутся...

«Да как я приведу – он у меня лежачий!» – «А вы бы справку заранее – из поликлиники. Дескать, не встает. Я вот взяла. Обещали по справке». – «Мы на 6-й Советской жили – там-то знали нас, выдавали безо всяких...» – «Мало ли что – на Советской...» – «В конторе, там хоть свободнее – совсем задохнемся». – «А к ноябрьским на улице стояли – замерзли». – «Теперь вот спаримся – в такой-то духоте».

Вперед поглядела: головы одни. И сзади совсем напирают. Обернулась, Евдокия к нам пробивается – платок совсем сбившись. «Ну как? – спрашиваю. – Не плакала?» – «Чего ж ей, – едва дышит, – плакать... С охотой пошла»...

К столу приблизились – тетка пальцем тычет, считает. «Четверо? – переспрашивает. – Пятеро же по книге. Ребенок еще прописан. Болеет, что ли?» Ариадна кивает: «Болеет». – «А справка у вас есть? Без справки и не надейтесь, не выдам». – «Какая ж справка, – Евдокия вступает, – воскресенье сегодня. Врач-то не ходит». – «Ходит – не ходит... Чай, не помирает у вас. Закутали бы да привели». – «А это уж, – Евдокия говорит, – наше дело. Ты свое знай – выдавай».

«Ишь, болеет она...»

Соседка нижняя – сзади нас.

«Видела, – говорит, – сегодня. Вон, – на Евдокию пальцем указывает, – девчонку-то вела. Врут, врут... Изоврались все. И чего врать-то?» – «А ты, – Евдокия к ней оборачивается, – рот-то свой засмольчи. Тебя, небось, не спросили». – «Вида-али, – так и вскинется, – сука, блядь, рот мой, вишь, не нравится! На себя погляди да на выблядков своих: им-то рты поганые позабили, гляди, и до тебя доберутся! Под корень вас, под корень – под нож!» – «А ты, – Евдокия чернеет, – на цельный век изготовилась – вроде тебе-то не помирать...» – «Я-то помру-у, да дети-внуки останутся, а твои в могиле гниют. Ну? Где они? Нетути...» – Пальцы выпростала, вертит...

Пакеты бумажные, большие. В две сумки нагрузила – так сподручнее. На улицу выходим – у Евдокии губы синие: стоит, воздух ловит. «Тошно, – жалуется, – голову сжимает, и ноги не свои...» – «Господи, – говорю, – Евдокия Тимофевна, на всякую дуру мучиться... Главное, муку? взяли». Стоит, за трубу держится – черная совсем...

Музыка слабая, бежит ручейком. Занавес подняли. Хорошо на том свете. Выходят, на паперти у себя рассаживаются . Конфет шоколадных накушались и рады. Неужто и этот с ними? Ох, жду, сейчас на санках своих приедет...

Да вон же он, голубь. Высокий, синий. А руки у него – крылья. Перьями все покрылись. Он как прыгнет! Значит, и ноги отрастают. Только клюва пока нету... А зачем им клювы? Руки-то тоже отрасли...

Гости танцуют, кружатся... Платья на них шелковые, алмазами убранные. По краям каменья сверкают. Принцесса меж ними ходит – улыбается. Про жизнь свою прошлую не помнит. Проснулась и забыла...

II Дочь

Я старалась вспомнить, но память упиралась в глухую стену: ворота, грязно-белая лошадь, темный деревянный гроб. Платья я тоже не запомнила, но у бабушки Гликерии было такое же, вот мне и кажется, будто я помню.

А еще я боялась, что не стану настоящим художником. Так говорила Лариса Евгеньевна: настоящий художник должен помнить самое раннее детство.

Тогда я бы все рисовала по-другому, а так меня всегда ругали: за нарушенную перспективу, за то, что не добиваюсь портретного сходства, за неясность замысла. Лариса Евгеньевна учила, что замысел должен быть четким и ясным, чтобы ни у кого не возникло вопросов, особенно у приемной комиссии. К ее замечаниям я прислушивалась: верила, что она желает мне добра. В сущности, так и было. Она учила меня художественным приемам, правила конкурсные работы – я очень

страдала, но не решалась возразить. Разве я могла сказать, что ее правка все портит, нарушает самое главное, ведь она была моей учительницей. Если бы не Лариса Евгеньевна, мне не удалось бы поступить.

Никакая комиссия не признала бы работы, в которой нарушена перспектива, как будто мир поделен надвое: верх и низ. Однажды, когда во Дворце готовили выставку, я попыталась объяснить, что вижу линию, которая идет от края до края – по самой середине листа. То, что внизу, должно оставаться мелким: для этого и нужна перспектива, чтобы оно уходило вдаль. Но там, наверху, все поворачивается, подступает ближе, чтобы мы видели, как оно всплывает обратно – из глубины. Если нарисовать по правилам, так, как полагается, все важное станет плоским – уйдет в землю.

Лариса Евгеньевна выслушала, а потом позвонила бабушкам, и бабушка Евдокия меня ругала: зачем болтаю глупости, возьмут и свезут на Пряжку. Сперва я ей не поверила, но потом бабушка Ариадна рассказала, что Лариса опасается нервного расстройства и, если это в ближайшее время не прекратится, советует показать меня психиатру, иначе им самим придется вмешаться.

После того случая я молчала, рисовала правильные картинки, с которыми и поступила в Мухинское училище.

Потом я еще долго боялась, так что настоящие работы появились позже, когда я стала выставляться на квартирных выставках. Там они уже никого не удивляли.

В те времена многие увлеклись иконописью, спорили о каноне, о ликах, о небесной дуге. Изучали старые приемы, пытались понять, почему художник использует ту или иную краску: киноварь, золотистую охру или разбеленный краплак... Оказывается, это тоже определялось каноном: я помню, как рассказывал Гриша, – мне до сих пор нравятся его ранние работы. Он искал ракурс, отображающий картину мира – такой же точный, как у византийцев, которые видели вселенную как храм. Жаль, что потом он увлекся инсталляцией, но тогда мы обо всем разговаривали, и я пыталась объяснить, почему канон не имеет отношения к моей жизни – мне трудно следовать традициям, в которых нет ничего личного: своей памяти...

Гриша возражал, говорил, что я преувеличиваю значение личного, и это мешает делу.

Я старалась изучить древние традиции, но они казались мне мертвыми, пока я не увидела одну египетскую картинку. Женщина на берегу ручья. Эта картинка меня поразила, ведь обычно египетские художники изображали батальные сцены, всесильных фараонов. Их специально рисовали огромными, а остальных маленькими, чтобы у зрителя складывалось впечатление, будто они распоряжаются своими подданными: их жизнью и смертью.

А тут – просто женщина на коленях: ползет по берегу ручья. Сначала я подумала, что она тоже жена фараона: сверху была надпись иероглифами – я не могла прочитать. А потом нашла перевод. Душа усопшей пьет воду в потустороннем мире. Я все время о ней думала, когда готовила к выставке свою первую работу. Нарочно сделала ее черно-белой. Грише моя работа понравилась, он даже придумал мне прозвище: Ручеек. Я еще решила, что из-за фамилии, но он сказал, что фамилия – не главное. Ему просто понравилась женщина, написанная в египетской традиции: по их канону фигура и лицо изображались в

боковом ракурсе, а глаза смотрели вперед… Как будто жили сами по себе, независимо от тела. Гриша говорил, что я нашла точный образ.

А однажды к нам пришел Алеша Рубашкин, совершенно бледный, и сказал, будто слышал своими ушами: москвичей, которых давили бульдозером, собираются посадить. Конечно, не сразу, а тихой сапой, а потом Гриша выпил лишнего и стал кричать, что ему осточертели старые большевички? и большеви?чки, когда ж эта чертовщина кончится?..

Не знаю, что мне пришло в голову, наверное, я хотела его утешить и вдруг сказала, что обязательно кончится, правда, не скоро, а через семь лет… Алеша обрадовался, принялся считать на пальцах: получилось в восемьдесят третьем. А Гриша стал мрачный и говорит: «Нет, Сюзо?н… *Оно* никогда не кончится», – и вскоре уехал в Америку. А через много лет мы встретились на выставке, и оказалось, он помнит ту давнишнюю историю: «Надо же, и ошиблась-то на пару лет… Признайся, Ручеек, откуда ты знала?..»

Конечно, это была шутка: откуда мне было знать? Гриша и раньше меня ругал, говорил, что в нашей стране нельзя не интересоваться политикой, а я отвечала, что ему просто повезло с родителями, они не боялись рассказывать, а мои бабушки молчали. Даже друг с другом ни о чем *таком* не разговаривали: только о домашних делах.

Гриша звал меня с собой, говорил, что я талантливая художница, а здесь мой талант зачахнет, но я не решилась. Мне очень хотелось с ним уехать, но что-то удерживало: мне казалось, если уеду, так и не узнаю правды. Почему у меня не было отца? Как случилось, что они расстались и мама вышла замуж за отчима? Ведь здесь же нет никакой политики, но бабушки все равно молчали.

Конечно, я могла спросить Николая Никифоровича, но как-то не решилась. Думала, все равно не знает правды, а если и знает, не расскажет. Не говоря уж о Зинаиде Ивановне: у нее каждое слово – ложь. Разве я не помню, как она кричала бабушкам, что это мама женила на себе Николая, а бабушки, старые ведьмы, еще и колдовали, только ничего бы у них не вышло, если бы не хитрый еврей… Вмешался и все придумал.

Какой еврей? Откуда она взяла эти сказки? У бабушек вообще никого не было: ни знакомых, ни родных…

III Мать

«В некотором царстве, не в нашем государстве жил-был царь Иван Васильевич, у него был большой сын Василий-царевич, а второй был сын Димитрий-царевич. Вот вырос старший, так надо его женить. Ну, нашли наконец невесту хорошую, работящую, да только успели повенчать, он наутро и исчез. Приходит Димитрий-царевич к отцу и говорит: “Благослови меня, отец родной. Поеду на поиски брата”. Тот, делать нечего, – благословил.

Оседлал коня да в путь и отправился. День едет, другой едет – одна степь. Снегом голым покрытая. Подъезжает, глядь, а там шатер: сам белый, и вокруг белым-бело – раскинули среди снега. А в шатре Василий-царевич, брат его ро?дный – спит-поспит мертвым сном. Вот Димитрий-царевич и думает: “Убью-ка я его сонного, а все добро да невесту его хорошую себе и заберу”. Сказано – сделано: убил он, значит, своего брата, косточки его закопал да обратно направился. Только

пальчик ему напоследок отрубил...»

Мама в уголке сидит, прислушивается.

– Господи, – говорит, – какая страшная сказка. На ночь бы, может, и не надо...

Бабушка Евдокия губы поджала:

– Страшная – не страшная... Какая уж есть. Других-то не знаю. Что мне сказывали, то и я говорю... Ладно, – поднялась, – засыпай покуда...

Только уснула, опять приходит.

– Вставай, – зовет.

На кухню повела – прямо в рубашке.

– Садись вон, – говорит, – покушай. Пирогов гляди сколько – вкусные.

Сами за столом сидят.

Бабушка Гликерия рюмочку подняла:

– Пусть этот год счастливый будет.

Бабушка Ариадна тоже желает:

– Только бы войны не было...

А бабушка Евдокия за ней подхватывает:

– Лишь бы никто не болел...

Мама веселая. За столом сидит, про злую фею не помнит...

Бабушка Евдокия руками всплеснула:

– Что ж ты, глупая, плачешь? Праздник сегодня – радоваться надо.

Бабушка Гликерия говорит:

– Так разбудили зря. Спала бы себе тихонечко... Пойдем, голубка моя, я тебя в кроватку уложу.

А карета черная едет, Вороном запряженная. Колдунья из кареты выходит: «Без меня вздумали обойтись? Вот я вам! Ужо! Припасла подарочек»...

Проснулась, а нет никого. Только светло уже. Босиком побежала – глядь под елку. Схватила, обратно бегу.

Мама в кровати лежит, улыбается.

– Это, – объясняет, – такая квартирка: все в ней имеется – и комнатки, и кухня, и люди. Только вырезать надо, да склеить. Ты, – говорит, – ноженки маленькие возьмешь, сама все вырежешь: и стены, и кроватки, и столик. Там ведь семья целая. Полистай-ка в конце. Только примерься сперва, чтобы не испортить.

Мама, папа, девочка у них маленькая. А бабушек нету. Потому что это – другая девочка. Папа с мамой у нее умерли, а бабушки со мной живут...

* * *

– Ишь, – Гликерия тоже пришла, удивляется, – и правда квартирка.

– В Гостином-то все брали – вот я и взяла. Телевизор, – вспомнила, – обещали. После праздников. В рассрочку буду выплачивать.

Евдокия нахмурилась, глядит исподлобья.

– Кто ж это, – спрашивает, – обещал?

«Вот, – думаю, – ворона! Чует будто...»

– Как это – кто? – сама будто смеюсь. – Дед Мороз, конечно...

Тридцать первого выхожу – догоняет. «Я, – говорит, – вот чего… Очередь моя подошла – на телевизор. Весной еще встал. Думал, вдруг комнату дадут… Надеялся, еще к ноябрьским. А они: „Подождать, – говорят, – надо. Семейным нужнее…“ Может, ты возьмешь. Я заплачу?, а ты отдашь постепенно. Куда мне с ним в общежитие… Твоя очередь дойдет, тогда уж – я… – Сам-то радуется. – И доставить помогу, и провод кину».

Нет уж, думаю, не хватало еще… Старухи и так зыркают. Сама на саночках доставлю. С электриками договорюсь – сделают за бутылку.

«Ну, – говорит, – как знаешь – я бы так, без бутылки».

Знаем, думаю, эти ваши *таки* …

Поужинали. В кухне прибралась, бельишко замочила. Тоже ложиться пора. Сюзанночка-то уснула. К столику ее подошла. Надо же, почти что все склеила – втроем живут. А комнат сколько – и зала у них, и спаленка, и для девочки – тоже своя. Где ж они работают, чтобы столько давали? Этот, не иначе, начальник… Сам молодой – когда и успел? Такие-то хоромы разве директору либо главному инженеру. Мастеру, небось, не положены. Мебель, гляжу, не доделала – пока на полу спят. Ничего, были бы стены… Сытинскую жену вспомнила. Господи, ведь и не представить: сама себе хозяйка. И вправду, как в раю…

Легла, а самой не спится. «Мужик-то и скромный вроде, непьющий. А ну как прав Михалыч – замуж позовет?.. Не век же, – думаю, – одной мучиться. – Лицо его представила: доброе, хорошее, а не по себе. – Ничего, – себя уговариваю, – главное, из наших: не городской. Поди, пойми их…»

Глаза закрыла, а сердце так и заходится. Мужика опять вижу, того, с бородой. На стенке у него висел… Душно мне! Я ведь сколько ходила, найти его надеялась. Да разве вспомнишь дом-то… В городе дома большие, одинаковые. Не то что в деревне…

Одеяло сбросила. Внутри никак не уймется. На кухню пошла – воды попить.

Налила, к столу села. Клеенка холодная… Руки-то горят. Полегчало будто. Сижу, думаю: «Материально тоже лучше: мужики не в пример бабам зарабатывают. Совсем другие расценки». Вроде сама себя уламываю. Потом-то спохватилась: «Сам-то, может, ни сном ни духом. Ох, – решила, – вот позовет – посмотрим…»

Лежу, а не сплю вроде. Только понять не могу. Будто в деревне я, за околицей.

А дорогу не помню, вроде и нет дороги. Снег. Все белымбело. Назад обернулась следы свои найти. Нету: ни своих, ни чужих. Огляделась деревню поискать – может, дымки? над крышами. Гляжу: ни крыш, ни дымков. «Как же, – думаю, – я-то сюда пришла?» Стою, на себя дивлюсь – испугаться бы, да нет, не страшно…

Только время какое-то неясное: и снег пока не сыпет, и видать далеко. Только сумрачно – ни утро, ни вечер. Идти, а ноги тяжелые – никак не переставлю. Вижу: дымок впереди – вьется столбиком. С силами собралась – пошла. Ближе подхожу – узнала место. Это ж землянка наша, на краю леса. С войны еще осталась. Детьми часто от дождя прятались. Бревна у ней погнивши – скрипят. «Кто ж это, – гадаю, – в землянке поселился да огонь жгет?»

Голову пригнула, заглядываю. А вместо пола – земля прибитая. Голик старый в углу. На полу костерок разложен. Хозяин у костра, ко мне спиной – поленья подкладывает, руки над огнем согреть.

Голос тусклый, хриплый, вроде простуженный. Слышу – знакомый, а не узнать. Пусть бы, гадаю, обернулся. Может, из наших кто, из деревенских. Соседских мужиков сколько в войну пропало, да и раньше – перед войной. Намерзся в лесу, вот голос-то и сел... Тулуп на нем вроде военного, только драный очень – клоками. Медведь, что ли, помял? Вроде не было у нас медведей...

Голову поворачивает. Глянула – дыхнуть не могу: будто медведь этот – когтем. Сам-то мне кивает: «Ну, – говорит, – отвечай, с чем пожаловала? Вольную просить? Так я, – хрипит, – не держу». Ответить-то ему хочу, да голоса нету, пропал, будто онемела. Костерок горит, играет язычками. Тени по бревнам, вроде крыльев. Справилась с собой: «Дочерь у тебя растет, а ты вон где, в лесу – партизанишь. Война-то когда окончилась – пора на белый свет». Голову клонит, не глядит...

«Что ж ты, – жалуюсь, – так и не объявился ни разу – за столько-то лет? Вроде пропал без вести...» Губами шевелит, а голоса не слышу – на руки его гляжу. Себя не помню – будто когтем кривым поворачивается: лицом припасть. Сам-то усмехается: догадался. Руки подняла, шагнула навстречу.

Рот у него дернулся, будто плетью ожгло. И глаза странные: ни живые, ни мертвые. «Платье, – смеется, – у тебя штапельное – надо обновить». Гляжу – и впрямь новое на мне. Маки по синему полю. «Когда ж, – думаю, – успела Гликерия? Вроде только раскроила...»

Пальцами пуговицы нащупала – сжимаю у горла, сама обмерла вся – что ж это будет? В землянке же нет ничего – ни уксусу, ни аспирину... Отодвинулась, головой мотаю, а коготьто в сердце ноет: лишь бы не ушел.

«Чего, – озлился, глаза тусклые, – не хочешь, чтобы дочь наша на свет народилась?» – «Да как же, – говорю, – не хочу – родилась ведь уже. Эту-то не знаешь, как вырастить...» – «Нет, – хмурится, – тот раз не в счет». А может, и впрямь, думаю... Вдруг и не было ничего, раз я-то здесь – в деревне?

Ноги слабые. На нары села. «Ты погоди, – говорю. Как же, думаю, не было, если я все помню? – Что ж ты, – спрашиваю, – дочерь свою признать не желаешь? Кровь родную».

Оскалился черт, опять смеется. «Кровь, – говорит, – в землю ушла. На крови родства не построишь». – «А как же, – удивляюсь, – иначе, если девка на тебя похожая. Только ты-то говорил больно ладно, а она молчит. Раньше, – жалуюсь, – надеялась, а теперь – все. Видно, так и маяться ей – немой. Ты-то уж, – говорю, – не знаю, где обретаешься, только узнал бы там, может, можно помочь? Другие-то детей своих ро?стят, телевизоры покупают: вон какая очередь...»

От костра жар, голова дымом плывет. Сам-то придвинулся. «Не бойся, не бойся, – ворчит. – Помогу, все для тебя сделаю, что прикажешь...»

Тяжко мне, не встать, не вырваться, будто медведь навалился – шерстью паленой. Ни сил нету, ни воли. Бормочет, бормочет, вроде просит чего. Крикнуть, да голос канул. Ближе, ближе – чую медвежью плоть... Запах сладкий, острый, будто гвоздь каленый. Цепляюсь, цепляюсь, рву в клочки. Костер горит, стонет, занимается... жарко мне, жарко... крикнула, как обмерла...

Глаза открыла – темно кругом. Вроде и нет огня, только тлеет все: вспыхнет, плывет искрами. Пальцами шарю – шерсть медвежья: липкая, мокрая... Одеяло скинула, села.

Сердце бьется. Рубашка круго?м завернулась – не встать. Насилу ноги выпростала. Губы сухие, колкие. С полу холодом несет.

«Что ж это было? – думаю. – И правда, как в раю... – Жену Сытинскую вспомнила. – Господи, неужто и она – про *это* ?»

* * *

Бабушка Гликерия заходит:

– Хватит тебе клеить. Отвлекись. Ну-ка, пошли со мною – машинку швейную достанем. Строчить на машинке научишься, что угодно сошьешь: и платье, и передничек. Вырастешь, ох, пригодится. В магазинах не больно напокупаешься. Дорого, небось...

На столе платье изрезанное. Лоскутки по полу валяются.

– Вот, – бабушка объясняет, – я уж раскроила.

С полу подняла, на бабушку глянула.

– Ничего, – разрешает. – Лоскутки-то, которые меленькие, бери. Их уж в дело не пустишь. А ты соберешь, на булавку наколешь. Только смотри с булавкой-то. Пальчик не уколоть... Вот, – объясняет, – тут у нас шов боковой, а это – спинка. Сначала выкройку из бумаги сделать, потом уж кроить. Вот мы вытачки застрочим и – под утюг. Утюжок – наш первый помощник, без него и не берись за шитье...

Машинка черная, лаковая, узор на ней красный – по спинке. Снизу иголка воткнута. Бабушка ручку крутит: машинка стрекочет, клюет.

– Ну, – нитку обрезала. – Садись, сама попробуешь... Чего это? Не хочешь, что ли? Неслух ты какой-то... Вот, – гонит, – и иди к себе. Играй в свое бумажное царство».

Обрезки достала – вынула булавку. Маму с кухни взяла – на листок положила. Обвела, будто выкройка. Подол широкий, колокольчиком, на плечах квадратики бумажные – чтобы платье не упало. Вырезала. Теперь – по лоскуткам надо. Рисовать стала, а карандаш за маки цепляет: ежатся, ежатся, будто ветер на них дует. Догадалась: приклеить же надо. А потом выреза?ть...

Мама красивая, платью с маками радуется. Сладким клеем пахнет. Побежала в кухню – показать.

– Ишь ты, – бабушка Евдокия восхищается. – Прям мастерская у нее... Вот и я лоскутков-то найду – всех своих принарядишь: и девочку, и дядьку этого...

Опять все перепутали. Он же – отец .

– Мастерица! – бабушка Гликерия не сердится, на палец плюет. Утюг шипит, злится... – Я-то приступила едва, а она глядь – и закончила. Все у ней готово. Ну, беги, наряжай.

Нарядила. Губами шевелю. Ну и пусть не слышно. Они же у меня мертвые – все, небось, слышат.

Жили-были отец с матерью, и не было у них бабушек, а была только девочка маленькая. Та, что в зеркале. Другая. Жили они хорошо и счастливо. Мать с отцом умоются, причешутся и на работу идут, а

девочке наказывают: ты, говорят, лоскутков подбери, платьев разных сделай, чтобы всем как следует нарядиться. Вот они с работы возвращаются, а у ней уже все готово – и костюмчики, и пальто, и платья...

В прихожей шум какой-то. Выглянула, а бабушка Евдокия машет:

– Сиди, сиди, неча тебе выглядывать. Телевизор привезли. Наладят, включат – тогда уж...

Коробка большущая, сто комнат в ней поместится. Мама с дядькой чужим тащат – схватили с двух сторон. Мама палец во рту сосет. «Ну, – дядька чужой спрашивает, – куда его нести?» – «А туда вон», – рукой показывает. Значит, к бабушке Евдокии...

Вот они домой придут, переоденутся и кушать садятся. Стол у них большой, там, на том свете, – стоит посреди комнаты. А на столе тарелки, блюдца всякие. Суп в кастрюльке. Сковородка с картошкой. И готовить совсем не надо. Все бумажное у них, вырезанное: кушай сколько хочешь.

Ой, спохватилась. Суп-то они не кушают. Зачем им – суп? У них конфеты шоколадные – в красной коробке. Коробка не простая, волшебная: берешь из нее, кушаешь, а все равно полным-полно.

Вот пообедают они, чаю напьются и идут. Только руки забудут вымыть. А на улице фея злая дожидается, караулит. Как увидит руки их шоколадные, разозлится, клюкой в землю тычет – извести грозит. «Чего, – шипит, – конфетами вкусными угощаетесь, когда другие суп едят?.. Вот я вас заколдую!»

Заплакал отец, заплакала мать, а девочка их утешает: не плачьте, отец с матерью. Ничего она вам не сделает. Только наколетесь булавкой и уснете – на сто лет. А потом проснетесь, оглянетесь, а злой колдуньи и нету... И никто про нее не помнит, будто и не было совсем. Только комнатки ваши целые – никуда не делись. И девочка ваша. Сидит, дожидается. Снова все заживете...

Булавку взяла, руки им наколола. Кроватка у них широкая – обоих уложила. Вот они лежат, а глаза не закрывают: видно, не хотят спать...

В прихожей ходят, разговаривают. Слов не разобрать, только мама веселая.

Дверь раскрыла – зовет:

– Поди, чего покажу... Такого-то еще не видывала...

Прибежала, гляжу: домик. Впереди окошко стеклянное.

– Ну, – мама говорит, – гляди.

Кнопку нажала – ждет...

Окошко темное. Вдруг огонек вспыхнул, будто искра. Шире, шире... А из домика – музыка. Как же это? Лебеди рядком стоят, крыльями взмахивают...

– Боже мой! – Ариадна руками всплеснула, прижала к груди. – Это же «Лебединое озеро»... Балет...

Платья у них перистые, а на головках – уборы. Стоят, шевелятся. Целая стая. А впереди лебедь белая. Бьется, бьется, сейчас взлетит...

– Поздно, – мама шепчет. – Может, сперва поужинаем, а перед сном еще посмотрим?

– Пусть уж, – бабушка Евдокия заступается, – до конца посидит.

Гляди, губы-то как побелели. Будто чудо увидела... Теперь не оторвешь.

– Ну пусть, – мама кивает. – Я в первый раз тоже обомлела. У нас в общежитии стоял. С линзой еще толстой. Через нее плохо видно. Так-то – лучше.

– Что ж это они, – Гликерия глаз не отводит, – балеты все больше показывают?

– Да нет, – отвечает, – разное. По вечерам новости. Комендантша все включала. Ну придешь когда, послушаешь. Только скушно больно. Сидят, читают попеременке. Концерты еще случаются. Бывало, поют хорошо...

Музыка дрожит, движется, в голове сладко...

Женщина нарядная является: «Мы передавали сцены из балета Петра Ильича Чайковского “Лебединое озеро”».

– Ну, – мама встала, – картошка, небось, разварилась. Кончилась передача.

На кнопку нажала: ежится, ежится, искорка одна.

Темно в окошке. Вот она – кнопка... Нажать, опять вспыхнет... Руку отдернула – боязно. На цыпочки встала, зажмурила глаза. Снова будто музыку слышу. Как же хорошо у них... Умрут и превращаются: кто в голубков, кто в лебедей...

* * *

Посуду мою: нет, видно, обиделся. Утром подходит: «Так чего, повезем сегодня?» – «Да я, – отвечаю, – с Сергеичем с нашим все сделала. Он и довезти помог, и подключить».

Весь день работала, а сердце не на месте. И чего человека обидела? Он-то с доброй душой. Сделал да пошел бы, и скатертью дорога. В крайности, объяснить можно: «Так, мол, и так, бабки старые – гостей не жалуют. Считаться приходится, раз семьей живем». Ничего, думаю. Обида – не кость, сглотнется...

Стол вытерла, села, а сама опомниться не могу. Это ж надо... Телевизор ведь купили. В деревне-то с лучиной бывало, а тут – кому рассказать... Не удержалась, девкам в цеху похвастала. «Как же так? – спрашивают. – Недавно записывалась». Растерялась. «Из сборочного, – выдумала, – поменялись: у ней с деньгами плоховато». Надька-ехидна и тут встряла: «А ты, не иначе, разбогатела? Денег девать некуда?» – «Материны, – отвечаю. – Мать пенсию откладывала».

Похвастала, а сама жалею. И чего распустила язык? Ладно, небось, не украла. Я ж не себе – для ребенка.

Таз с гвоздя сняла – вспомнила: Михалыч, мастер наш, рассказывал, будто машинку придумали – белье стирать. Вроде читал он: «Грязное положишь, она и вертится. Глядь, а все чисто». Девки смеются: «Как это вертится? Она что ж – избушка на курьих ножках?»...

А я вот подумала: мало ли?.. Вон Гагарина запустили. Машинку-то – не в космос. Попроще, небось...

На политинформации как объясняли: «Каждый сколько он хочет работает – хоть смену, хоть полсмены. Отработают и в магазины идут. А там – благодать: всего полно. И денег не надо. Деньги тоже отменят – бери сколько пожелаешь». Надька и тут не удержалась: «Как это – сколько пожелаешь? Что ж это будет-то? В один день расхватают. Вон я, к примеру, десять платьев зараз возьму, а еще и туфли... Да не просто так,

а, например, чешские. Или венгерские еще. А чего? – девкам подмигивает. – Не имею права?» – «Ты-то, – Михалыч на нее разозлился, – к тому времени сознательная станешь». – «Созна-ательная… – смеется. – Не сознательная, а старая – через двадцать-то лет. Мне ж тогда сорок пять стукнет – зачем мне туфли? Тогда мне и бурки сгодятся. А молодые? Или как? – На девок оглядывается. – Все, что ли, старые будут, при коммунизме?»

А я вот и думаю: с едой-то понятно. Сперва налетят, конечно: и рыбы захочется им, и конфет. Ну наедятся-напьются – больше-то не впихнешь… А потом за одеждой отправятся. Или, к примеру, за матерьялом. Штапель, небось, не станут: чистую шерсть подавай…

Раздеваюсь, слышу: стонет… Склонилась – нет, почудилось мне. Одеялко поправила. Красавица – прямо ангел небесный. И не скажешь, что ущербная. Господи, воля твоя…

Ох, радуюсь, и ручки-то сызмальства хорошие. Мать моя всегда говорила: хорошие руки сыздетства видать. Бывает, от горшка два вершка, а все у ней ладится, а бывает учат, учат: все одно – горшок мимо печки. Так и вырастет – ни с чем пирожок…

Гляжу, и куколок бумажных уложила. Лежат, спят…

Легла – а заснуть боюсь. Еще полежала, а вдруг и не он это, думаю? Прямо по?том меня прошибло: случаи всякие бывают. *Эти* , которые являются, даром-то не отстанут… Матьпокойница рассказывала:

«В войну было. Жила у нас в деревне солдатка. Здоровая баба, крепкая, отродясь ничем не болела. Муж на фронте – она за двоих ломит: за мужика и за себя. Потом уж, война к концу, приходит ей похоронная. Ну погоревала-поплакала и снова за работу. Месяц-другой проходит, стали замечать за ней – лицом чернеет. Ну чернеет и чернеет. Другие-то тоже не румяные. А потом, глядят, и с тела стала спадать. Бабы и приступили: „В район надо – к фельдшеру. Пусть посмотрит: мало ли, порошков каких выпишет или травок“. Она их послушает, глянет эдак – усмехнется, а глаз-то плохой, шальной.

А у нее товарка. Вот бабы-то и к ней. «Повлияй, – говорят, – на Анну. Неладно с нею, детей сиротами оставит». Та и пошла. Завела про то, да про се. А баба будто и говорит: «Да пошли вы все. Это вас фельдшерам показывать. А я-то теперь только и зажила. Муж мой каждую ночь ко мне является. Любовь у нас. Раньше-то и ведать не ведала, как оно бывает…»

Товарка изумилась – другим пересказала. Вот они решили к попу обратиться. Тогда как раз церковь в районе открылась – до войны заколочена стояла. А сразу не уедешь. Выходных-то не было. Всякий день на работе. Ну колхозное убрали, потом свою картошку копать. Выкопали – поехали. Обе соседки. Батюшка-то старенький, сам едва жив. Как услышал про бабу эту: «Бес ее терзает. Вы, – советует, – в храм Божий приводите, я отчитаю. Только бесы, – пугает, – эти – самые сильные, которые любовный облик принимают. Бывает, с одного раза и не сдадутся. Имя им страшное, особое». Поп-то назвал, да бабы позабыли…

Вернулись, а тут и дожди пошли, бездорожье. Как повезешь? Ждать надо, когда дороги встанут. Пока дожидались, Анна эта возьми да помри. Обмывали, дивились: старуха старухой. Руки тонкие, ребра торчат, будто выболевши. Бес-то силы из нее вымотал – затерзал до смерти…»

Лежу, а внутри замирает… А вдруг и со мной так?.. Бес меня терзает.

Глаза закрыла. «Он это, он, – думаю. – Сердцето не обманешь...»

Снег белый – сугробами... Средь сугробов тропка вьется. Следы пропечатаны – будто от валенок. Время-то, различаю, предутреннее: вот-вот заря займется. По следам двинулась. «Это ж, – думаю, – давешние, мои...» На ноги поглядела: валенки. «Откуда? Я же в бурочках хожу...»

Дымок вьется. Только лес чужой – темный, на наш не похожий. Кругом забор частоколом. За ним вышка деревянная, как вроде при немце. В районе, говорили, стояла: немцы пленных наших держали – в загородке... «Ладно, – решаю, – ворота хоть найти». Огляделась – нету ворот. Вместо них землянка эта стоит: через нее и заходить.

Голову нагнула. Пол-то земляной, прежний, только лавки по краям. В два ряда сделаны, будто нары. И костра нету. Печурка вроде буржуйки. Колено в потолок вывели. Все равно чадит.

На нарах мужики расселись. Жарко у них. Дух-то тяжкий, дурманный. Сидят, играют – кости в черед выбрасывают, меня не видят. Присмотрелась: кости у них не игральные. Белые больно – вроде выварены совсем. Грудкой в углу сложены – пошарят, еще наберут. Напугалась, скрыться хочу, да ноги как вкопанные. К земле приросли.

Ну, думаю, делать нечего. Поклонилась им: «Здравствуйте». Игру свою бросили – оборачиваются. Мой-то тоже с ними, только не признается. И я, думаю, смолчу – мало ли...

Старшой у них – мужик колченогий. Борода разметанная, рыжая – чистый леший. «Заходи, – скалится, – раз пришла. Отвечай: с чем к нам пожаловала?»

Тут один, щупленький, а тоже с бородкой. К старшому суется. «Худо, – пеняет, – гостей встречаешь? Чай, не каждый день жалуют нас. Ты накорми, напои сперва, а потом уж выспрашивай». Другие, вижу, тоже поддерживают, головами кивают.

Вот они кости на пол сбросили, место освободили. «Садись, – приглашают. Водицы нашей испей, горбушкой закуси». Кружку железную придвинули, ломоть протягивают. Села на нары, хлеб ихний понюхала: поганый. С войны такого не пробовала – с лебедой. И вода тоже нехорошая, вроде болотная. «Чего, – говорит, – нос воротишь – или воняет наша пища?» – «Благодарствуйте, – отвечаю, – только сытая я, поужинала – как раз от стола». Старшой-то озлился: «Что ж ты, – моему выговаривает, – бабу свою не выучил, как к нам ходить? Ишь, нашим она брезгает! У себя, небось, всякий день мертвечину едят...»

Другие тоже осерчали. Ворочаются, ворчат, как медведи. Бороды свои чешут. Напугалась, горбушки лебедовой прикусила, воды отпила глоток. Гляжу, отошли... Сама тоже чувствую: как глотнула ихнего, осмелела. И дым вроде спал.

«Что это вы, – спрашиваю, – здесь поделываете?» – «Мы-то, – оскалились, – Богу молимся, а что ж еще!» – «А, – догадалась, – значит, вы и вправду мертвые?..» Спрашиваю, а самой и не страшно: вроде дело обыкновенное – к мертвым в гости ходить. «А мы, – отвечают, – ни то ни другое». – «Как это так? Разве так бывает?» – «Так-то, – говорят, – и бывает – или сама не знаешь?» – «Откуда ж ей, – мой заступается, – она ведь оттуда, с воли...» Тут они как захохочут, себя по грудям хлопают, головами крутят: «С воли! – кричат. – Ну ты и скажешь – с воли!» Весело им.

Отдышались. Старшой и говорит: «С воли так с воли. Отвечай тогда,

может, желаешь чего? Баба ты молодая, мы тоже, – мигает, – не перестарки. Глядишь, горю твоему и поможем...» На своего скосилась – молчит.

Ну духу-то набираюсь: «С тем я пришла, чтобы отец дочери помог – инвалид она бессловесный. Седьмой год скоро, а все молчком. Вам-то, – киваю, – хорошо, весело – в кости человеческие играете, а девка страдай».

Выслушали – сидят, думают. Бригадир губами пожевал: «А ты костями нас не попрекай. Чай, свои кости, не чужие...» А щупленький этот вертится, вертится, аж извернулся весь: «Не пойму я что-то. Разве другие-то ваши – разговорчивые? Все, которые разговорчивые, давно здесь, у нас...» Старшой тоже голову чешет: «Глупая ты баба! Счастья своего не понимаешь. Кабы нам-то немыми родиться, разве гнили б теперь?» – «Уж это, – говорю, – не знаю. Ваше дело – мужицкое. Может, вам и немыми бы сподручно, а девке замуж идти. Кто ее такую возьмет?»

Старшой-то хмурится: «Ну, – решает. – Последнее слово – за отцом».

Мой поглядел: «Хорошо ли подумала? Вот дадим мы ей голос, только ведь и у нас – не *за так* ...» Неужто, изумляюсь, денег просят? Зачем им – в лесу?

«На мне, – объясняю, – долг теперь. За телевизор. Выплачу, на вас работать стану: рассчитаюсь». Надо ж, думаю, с дочери долг ожидает, а еще – отец...

«А долго, – старшой вмешивается, – нынешний долг отдавать?» – «Долго, –говорю. – Может, полгода, а может статься, и год...» – «Это, – разъясняет, – недолго: в наших краях день за год... Но учти – и ты ведь заплатишь, и дочь твоя платить станет. Так что за обеих решай...»

Хорошо живут, думаю. У нас-то, бывает, год за день... Села, щеку подперла – снова дымом заволакивает. Труба у них, видно, забитая. И вонь по углам. Так и несет гнильем. Как бы, боюсь, не вывернуло... Снова тошнит-подступает. Эти-то молчком – ждут.

Взяла горбушку лебедовую, кусок откусила. Вроде опять полегчало – отошла дурнота. «Решилась я, – говорю. – Вы уж, батюшки, делайте как положено. А мы с дитем отработаем – не сомневайтесь...»

Старшой ладонью пристукнул: «Вот и ладно. Раз решилась, тяни руку. Да не так, – морщится, – не кверху. Не как у вас. Ты вперед ее вытягивай: палец тебе отрубим – в залог». Напугалась: «Как же я работать буду? С завода беспалую погонят». – «А ты молчи, не говори никому – сами не заметят. Они ж слепые».

Гляжу, а он уж тесак достает. Большой, острющий... Рукуто вытянула, зажмурилась – он и полоснул. Больно мне, хоть на крик кричи... А терплю.

Мой-то палец этот взял, в тряпицу заворачивает. «Теперь, – объявляет, – мы с тобою повенчаны. Палец этот заместо кольца. Дочь, – говорит, – тоже моя – теперь не брошу». Гляжу, а старшой ихний смеется. «И я, – обещает, – не брошу. Буду ей крестным»...

Боль-то сильнее, сильнее... Крикнула. Глаза открыла. Нет ничего. Только руку дергает. Нашарила выключатель. Вот оно... Это ж палец гноится. Вчера повредила, пока телевизор волокли. Глаза закрыла. Господи... Видно, сказок этих наслушалась. Ох, думаю, Евдокия...

С силами собралась. Вставать надо. Все одно не усну.

Только тут и сообразила: живой-то он хитро? говорил. И не поймешь сразу. А тут – как все разговаривает. Вроде как у нас, в деревне...

За окном черно – ни огонька, ни звездочки. Тошно мне, тошно... «Неспроста ведь, – думаю, – и палец этот, и сон»...

* * *

Погуляли, покушали. Софью уложили. Сели нитки мотать. Сидят, а сами-то в угол поглядывают. Будто медом намазано. Гликерия первой решилась:

– Может, лучше включить? А вдруг что важное покажут…

Евдокия дожидалась будто. Вмиг спицы сложила:

– Включай.

Зажглось. Люди в телевизоре маршируют, руками размахивают. Ариадна вгляделась:

– Боже мой! Смотрите, это ж физкультурники… Спортивный парад.

Музыка веселая, праздничная. Гликерия поглядела – удивляется:

– Февраль, зима на дворе. Какой им теперь парад?

Глазок бежит, движется. Шары воздушные пляшут. Портреты на древках, транспаранты. Люди радостные: кричат, смеются. Только слов не слышно – музыка, музыка, будто немые. Ариадна говорит:

– На праздник очень похоже. Кажется, Первое мая…

Гликерия глядит-приглядывается:

– Праздник-то, – соглашается, – праздник. Только кофты на них полосатые, помнишь, перед войной.

– Батюшки, – Евдокия замерла, – ты на тряпку, на тряпку-то глянь…

Парни веселые, здоровые – тащат на двух палках. Тряпка широкая. Палки цветами убраны. Посередке цифры написаны – «1941». Глазок-то выше, выше – скользнул над головами, будто вспорхнул.

Ариадна глаза закрыла:

– Помню. Мои тоже ходили. Младшего дома оставили – втроем пошли, с институтом.

– Господи… – Гликерия осеклась, руки на груди сводит.

Ариадна сидит, впилась глазами.

Идут, смеются…

Женщина в кудельках является, на весь экран расположилась. Ариадна ее не слушает:

– Пойду лягу.

Головами кивают: и правильно, и полежи.

Ушла. Гликерия губами шевелит:

– На демонстрациях этих… Всех, что ли, снимали или кого по выбору?

Евдокия подумала:

– Подряд-то, небось, не снимешь… Это сколько ж их надо – с аппаратами? Не напасешься.

– А вдруг, – Гликерия шепчет, – напаслись?..

Евдокия догадалась, рот ладошкой прикрыла.

– Вот-вот, – Гликерия не уймется, – сняли и припрятали. Так и лежат у них. Этих-то теперь показали, а другой раз – других.

– Если в сорок первом, они же все, почитай, мертвые… Которые в блокаду, которых – на фронте… Когда ж они начали? Перед войной? Кино-то, – вспоминает, – и до войны снимали. Ох, – за стол взялась. – Тошно мне…

– Спрятали, – Гликерия опять шепчет, – с самой Гражданской спрятали. Хранилищ для них понастроили.

Ариадна входит.

– Нет, – глаза сухие, темные, – не могу. Как подумаю, что мои там

идут. Живые...

Евдокия говорит:

– Сядь-ка.

Выслушала – молчит.

Гликерия морщится, морщится, сейчас заплачет.

Спицы не тенькают, и голос чей-то чужой. Встала, крадусь на цыпочках. Дядька бормочет – голос сиплый, нехороший. Бабушек за ним не слышно... В щелочку заглянула: это же телевизор говорит...

– Как живые, – бабушка Гликерия радуется, – ни войн на них, ни болезней. Как смерть застала, так и остались – молодые, здоровые. Очереди своей дожидаются: в телевизор попасть.

– Глупости мелешь! – Бабушка Евдокия глазом сверкнула. – Все, мол, кругом одинаковые – на одних правах? Умерли, а все в одном месте: и грешники, и праведники... И очередь у них одна?

– Теперь-то – мертвые, – бабушка Гликерия печалится, – чего им промеж себя разбирать...

– Ну уж нет! – Встала, за спину держится. – На этом свете не разобрались – и концы в воду? Не будет этого. Господьто все видит. Смерть – не война: грехи не спишет. Здесь не сподобил, значит – *там* ответ держать.

Палец черный, острый – в телевизор им тычет. Дядька этот совсем напугался – примолк.

Бабушка Евдокия на него поглядывает:

– Не верю я! Зачем им хранить? Это ж следы. Случись чего, против них же и обернется... Батюшки! Явилась. Босиком стоять. А ну, – грозит, – марш в кровать! Тоже, взяла моду...»

Побежала, юркнула – с головой укрылась. Слышу, шаркает. Приходит, села на край.

– Ты, – говорит, – всего-то не слушай. Взрослые эти разговоры. А услышишь – не всему верь. Люди-то разные... Облик человечий – обманчивый. Случаются и хитрые как лисы, а то, бывает – во?роны. Вырастешь, сама научишься – породы ихние различать...

Ушла. Одеяло с головы скинула. Не пойму – чего говорили? В телевизоре все, что ли, мертвые? И дядька этот?..

* * *

Зоя Ивановна мимо идет. «Тебя, говорят, Беспалова, поздравить можно – с покупкой?» А у самой глаз острый, пристальный. Молчу. А сама думаю: Надька и донесла. Неймется стерве.

«Купила, – отвечаю. Пусть дочерь смотрит. Сами ж учили – в школу ей идти». – «Учить-то учила, только не пойму никак. С кем это ты очередью поменялась?» – «А чего, – спрашиваю, – нельзя?» – «Можно, – отвечает, – у нас все можно. Только вперед – в местком. Нас в известность поставь, в списках отметить. Очередь-то общая». – «Да я ж, – говорю, – не знала... И какая разница? Оба же стоим». – «Большая, – говорит, – разница. Во всем порядок нужен. Так-то каждый надумает местами

меняться...»

К себе иду – вспомнила. Девкам-то что сказала: из сборочного. А фамилию спросят? К гальваникам пошла, заглядываю. Заметил. Махнула ему потихонечку. Дескать, разговор есть.

Выходит, руки ветошью обтирает. Рассказала, нахмурился сперва. А потом говорит: «Чего уж... Давай на меня показывай». А фамилию его не знаю: Николай и Николай... И спросить неловко: еще обидится.

Смена закончилась – к Михалычу подхожу. «Как, – спрашиваю, – фамилия у Николая, ну этого, с гальваники?» Смеется: «По фамилии мужа подбираешь? Хорошая у него фамилия: Ручейников. Ну как, – щурится, – подходяще?»

Зоя Ивановна бумажки свои листает: «Вот он у меня, сборочный, в отдельной папке. Кто стоял, к майским получали». Ох, думаю, сучка эта Надька: во всех подробностях донесла. «Не пойму – все вроде взяли...» Еще бы, думаю: сборочный – баре, не нам чета. Все им – в первую очередь. И расценки – с нашими не сравнить.

«Так с кем же ты, – спрашивает, – поменялась? На кого отмечать?» – «Я, – объясняю, – Зоя Иванна, девкам неправду сказала. Прямо и не знаю, как вышло. Сборочный – ни при чем. Мы с Ручейниковым Николаем, с гальваники. Он ведь одинокий, и комнаты у него нету. Сговорились: теперь я возьму, а он уж потом, к осени. К майским комнату дадут. Говорит, должны уж».

Молчит, бумажки терзает. «Интересно у вас с Ручейниковым выходит... Надо же, должны им... Вон у нас – семейные мыкаются, а им должны. Не нужен телевизор, так не вставал бы. Другие найдутся, которым нужнее». – «Так, – говорю, – теперь-то как? Обратно, что ли, везти?» – «Зачем же? – Задумалась. – Теперь уж все, деньги заплочены. Пользуйся покуда. Вот, – говорит, – и в списке у меня отмечено: Ручейников Н.Н.». – «Так вы, – прошу, – меня заместо него впишите, чтоб путаницы потом не вышло». – «Впишем, – обещает, – не будет путаницы. Все впишем, что полагается».

Листок отдельный взяла, чиркнула закорючку – сверху скрепкой пришпилила. На меня глядит: «Ты, Антонина, смотрю, баба ушлая, а глупая. Ладно, когда по молодости. А теперь, чай, не девка. Раз принесла в подоле, во второй раз примериваешься? Так и будешь безотцовщину плодить? Пользуетесь, что государство у нас доброе – и ясли, и сад, и все вам на тарелочке. Рожай не хочу – хоть под каждым забором...»

«Что ж вы так, Зоя Ивановна? – а у самой руки дрожат. – Разве я кому-нибудь на шею? В две смены работаю, лишь бы ребенка обиходить. И в ясли всего ничего ходила – три месяца только, и в садик не ходит». – «Спасибо скажи, что мастер в две смены позволяет. И учти: в Америке таких, как ты, – поганой метлой. Там с этакими матерями не цацкаются. Иди, – говорит, – и подумай. А то ведь поздно будет».

Вышла. В глазах темно. Только вьется чего-то. Снежинки будто, мелкие, золотенькие. До гальваники дошла – вызываю. «Ну, – спрашивает, – отметила?» – «Отметила, – говорю. – Только злится она – глазами так и стрижет». – «Ничего, – рукой махнул, – пострижет и перестанет. Подумаешь, очередью поменялись: грех какой! Я, – говорит, – уже заканчиваю. Подождешь?»

На площадь вышли. «Чего, – спрашивает, – смурная? Зою

напугалась?» – «Не знаю... А не по себе чего-то... И внутри болит». – «Да брось ты, – утешает. – Зоя, небось, не зверь. Может, и забыла уже. Мало ли дел у них... Пошли, – зовет, – я тебя кофем угощу. Вон булочная. Там и кофе, и булки».

Столики высокие, а народу мало. «Ну, – предлагает, – выбирай». За стеклом булки разложены, пирожные. Растерялась: прямо и не знаю. «Сам-то, – спрашиваю, – какую будешь?» – «Я, – отвечает, – пирожные предпочитаю – трубочки эти, с кремом». Поглядела – двадцать две копейки. Ишь, думаю, предпочитает. Хорошо им, одиноким – пирожные предпочитать. «Ну и я тогда». А сама думаю: попробовать хоть.

Кофе вкусное. Сладенькое. С тем не сравнить, с черным... Пирожное надкусила. Тоже вкусно. Вот, думаю, Сюзанночке бы снести. Она бы порадовалась. Мне ведь так, баловство... А чего, соображаю. Завернуть и – в сумку. Нет, теперь-то неловко. Сегодня сама уж съем. А завтра ей куплю...

«Чего, – говорит, – хмуришься: не нравится?»

«А правда это, что в Америке матерей с производства гонят, которые одинокие, без мужа?» – «Эва, куда, – изумляется, – тебе-то что? Слава богу, не в Америке живем...» – «Все-таки не верится как-то... Что ж они там – звери?» – «Не знаю, – говорит, – может, конечно, и не звери, но о трудящих своих не заботятся. Квартиры вот точно не дают – сами у них покупают». – «Как это, – удивляюсь, – покупают? В магазине, что ли?» Плечами пожал: может, и в магазине.

Выходим. «Спасибо, – говорю, – за угощение. Пора мне». Он губы утирает: «И сколько ж, – спрашивает, – твоей дочке?» – «Шестой пошел». – «Это хорошо, – кивает, – значит, скоро в школу. Лицом-то в кого пошла?» – «Не знаю. Вроде бы в меня». – «Ты-то, – глядит, – из себя ничего, симпатичная. Я когда еще приметил». – «Да ну тебя! – смеюсь. – Может, по молодости и была...»

Вижу, в сторону смотрит.

«Отец-то ее где?»

Сердце так и екнуло. «Не знаю, может, уже и умер... А может, – шепчу, – сидит». Ляпнула и сама напугалась. Откуда взяла-то? Мало ли, что во сне...

«Это, – соглашается, – да... Вон, отец у меня. С войны пришел без ноги. Сначала – ничего, радовался, а потом запил. В райцентре дело было. Дверь они в лабаз взломали: водку шарили с мужиками. И взяли-то две бутылки. А участковый, падла, как раз мимо шел. Дружки-то – тю-тю! – сбежали. А ему куда, с костылем?.. Скрутил его участковый. Мать как узнала, побежала, в ноги ему кинулась: “Фронтовик, за водку уплотим...” Сидит, сучий потрох. “Пусть суд, – мол, – решает. – Глумился еще: – Ну и что, фронтовик? Закон для всех одинаковый. Так-то каждый воровать возьмется”. Сам, падла, войны и не нюхал – за юбками бабьими отсиделся. Отец мой – дурак: на себя вину взял... В суд привели, еще и подмигивал: “Ничего, пробьемся...” Дескать, гвардейцы...

Напоследок свидание дали. Мать и пошла. Возвращается, бабке рассказывает. Я-то, хоть малец, лежу – слушаю. “Сам, – говорит, – веселый. Давно таким не видела. Чем, говорит, в деревне пропадать, лучше уж там, в лагере. Отсижу – все дороги открыты: хошь куда поезжай...” Может, и твой так... Суд-то был?»

«Не знаю, – голову опустила, – может, и был, только меня не позвали – мы же с ним так, не расписаны». – «Значит, – соображает, – и дите

незаконное?» – «Ага. Так родила». – «А отчество у нее какое?» – «По нему записала: Григорьевной. Это-то разрешают». – «Николаевна, – подмигивает, – вроде не хуже?» Господи, думаю, чего это он? «Ладно, – говорит, – шучу. Это ничего, что незаконная. Теперь уж пусть растет. Лишь бы здоровая была...»

Ох, думаю, если бы... Сказать, что ли? Нет. Бабок вспомнила: молчи, наказывали. Смолчала.

«А что, – спрашиваю, – отец твой вернулся?» – «Вначале писал еще. Мать передачи все слала. Потом замолк. Ни слова от него. Думали, в лагере сгинул... Потом-то слух пошел, будто в райцентре видели. Может, и спутали. Мало ли безногих...»

Через мост иду – снова про Америку задумалась. Как же это – квартиры в магазине?.. Так-то каждый придет купить. Где ж они на всех напасутся? Тоже, верно, очередь...

На площадь вышла – ветер. Так и несет. Лицо ожгло. Варежкой сухой прикрылась. А если взаправду? Так-то представить... Прямо в жар меня бросило. «Вот, – шепчу, – и я бы купила». Дорого, небось... Ну и пусть, думаю. И комната своя, и кухня. На окне занавески льняные – в синюю полоску. И уборная своя: стены светлые, крашеные... Батюшки, тут-то сообразила: а Сюзанночку – с кем? В Америке ж ни садов, ни ясель. Хоть какие хоромы, а одну-то не оставишь. Нет уж, думаю, бог с ней – с отдельной. Пусть уж с бабками – как есть...

Ужинать сели.

– Ну, – спрашиваю, – как? Днем-то включали?

Сидят, глаз не кажут.

– Что, – испугалась, – сломался?

Евдокия говорит:

– Хорошо показывает. Все видать.

– Новости-то, – вспомнила, – в девять. Идите, – говорю, – включайте. Хоть поглядеть, чего у них там, в мире.

Сюзанночка первой побежала. Шустрая, сама на кнопку жмет.

Музыка сильная, грозная: парочкой сидят, будто семья.

«Здравствуйте, – объявляют, – дорогие товарищи».

Вначале у них про завод. Цеха чистые, просторные, загородки стеклянные. Где ж это, думаю? Не иначе, в Москве. Собрание у них – вроде на перерыве. Народу нагнали. Прямо сесть некуда. Стоят голова к голове.

Мужик, на мастера похож. Выступает. Прислушалась: нет, думаю, у нас не так. Михалыч выступать возьмется – бубнит, как пономарь. Наши тоже не выспавшись: политинформации все больше до смены...

Женщина показалась. На Зою Ивановну похожа. Тоже волосы узлом. Профсоюзные все с узлами. Бумажку достала – читает. Вроде про искусство. «Художники, – говорит, – от слова худо». Этим-то чего, слушают. Руки тянут.

Сижу, а палец дергает. Днем отпустило, а к вечеру – опять. Нарывает у самого ногтя. Евдокия глянула:

– В марганцовке поди попарь. Разболтай погорячее.

Гликерия говорит:

– Гляди, ноготь еще сойдет...

Бабушка Ариадна в телевизор смотрит.

– А это, – шепчет, – когда снимали?

Бабушка Евдокия на нее сердится:

– Не видишь, что ли, – теперь... Мужики-то, гляди, мордатые... Этот вон особенно. Щеки нажрал – поперек себя шире. Все в морду ушло.

Обратно прихожу – села с баночкой. Про заграницу завели. Вдруг, думаю, квартиры покажут? Нет, забастовка у них. Машут, кричат по-своему.

Этот, в галстуке: «Идет процесс сокращения производства. Рабочие борются за рабочие места. Хозяева не церемонятся. Тех, кто попал под сокращение, выгоняют прямо на улицу».

Вот, думаю, паразит этот хозяин... Пока работали, так нужны, а нет – гонит. Женщины тоже идут: которые без мужей. Их-то, небось, в первую очередь... Ох, жалко, прямо сердце ноет. Завтра встанут – чем детей кормить?.. Дети-то разве виноваты?.. Это же не выберешь, где родиться...

Палец дергает, дергает.

– Ну, – спрашиваю, – хватит, что ли?

Евдокия говорит:

– Гной бы сперва выдавила.

– Да как же его давить, если под кожей.

– А ты, – учит, – булавку возьми, прокали над плитой.

– Больно же, – морщусь, – по живому...

– Там не живое, если гноится... Это, – Ариадна объясняет, – некроз. Омертвение тканей. Если мертвая, уже не оживает. А не проткнешь – живую погубит...

Булавку нашла – держу над газом. Тыкаю, тыкаю – не идет гной. Глубоко, видно. Только расковыряла.

Бабушка Гликерия говорит:

– Села бы ты ровненько... Вон, на краешек примостилась, а спина-то кривая. Гляди, кособокой вырастешь...

Бабушка Евдокия рукой машет:

– Да чего с ней говорить... Она ж тебя не слышит. К телевизору прилипла... Ох, девка, погибнешь ты с этим телевизором – посадишь глаза.

– А это где ж? – бабушка Гликерия удивляется. – В какой же стране?

– Так сказали тебе, в Америке.

– Ишь ты... – вздыхает. – И не представить...

– Чего представлять? Тоже люди живут. Помнишь, в войну – тушенка еще у них. И машины эти, как их, студи... Не помню. Теперь, гляжу, другие. Видно, те-то нам переправили, а себе новых наделали – лучше».

– А я помню, – оживилась. – Студебекеры. Ох, хорошие машины!

– Ты-то откуда знаешь? Каталась, что ли?

– Куда мне... – смеется. – Соломон Захарыч говорил.

– Господи. – Бабушка Евдокия головой крутит. – Захарыч твой ну всюду специалист... Что по уксусу, что по машинам. И чего ты за него не пошла – жила б как за каменной стеной. Сколько ж ему теперь?

– Да, – задумалась, – вроде наших лет: на Царской успел повоевать... Студентом пошел, с медицинского...

– Гляди-ка, – Евдокия перебивает, – снова у нас показывают... Вон, вокзал Николаевский.

– Московский, – бабушка Ариадна поправляет, – теперь он называется Московский. Смотри, – говорит, – Софьюшка. Все улицы к празднику украсили. Вырастешь, на Невский сходишь. Там хорошо в праздники гулять...

Мертвые – веселые. По улице идут – смеются... Улицы у них широкие, праздничные. Поперек гирлянды висят. Машины ездят. И дети их умерли. Вон они: гуляют под музыку – тоже не разговаривают...

* * *

Ближе к весне и солнышко ярче. Ариадна говорит: «Воздух тихий, живой...»

Иду, а воздух и вправду веселый. Зимой темень – с работы на работу. А тут – после смены выйдешь: и сама будто веселее, и вокруг – светло. Николай тоже заметил: «Эх, лето скоро. Летом оно все сподручнее – и работа, и гулянки». Головой-то киваю, а сама думаю: может, в парк поедем, хоть платье новое надеть.

На работу ведь не наденешь. Ну их, думаю, девок – совсем засмеют. И так уж: «Иди, – мол, – женишок дожидается». В особенности эта Надька: «Хитрая ты, Антонина. Тишком да тишком, а мужика, гляди-ка, отхватила – кругом положительный, только что не партейный пока». А то еще подойдет, подмигнет кривенько. «Тут, говорит, трудящие интересуются, как у него по ходовой части? Ежели подходяще, так, может, с народом поделишься – не все ж себе да себе». Бабы тоже за ней – смеются.

Рукой махну: «Ну вас совсем!», а самой не до смеха. Мужик-то он чего – походит, походит. И надоест ему дожидаться. В общежитие сколько раз звал... «Нет, – отказываюсь, – этого не могу». – «А тогда, – предлагает, – к себе позови: мамаша твоя, чай, не зверь». – «Не зверь», – соглашаюсь, а сама думаю: как позовешь? Старухи сиднем сидят. Да и ребенок...

«Ты, – говорит, – не бойся: я не как-нибудь, по-серьезному. Посидим, познакомимся сперва».

Ужинаем, я и начала:

– Хочу знакомого в гости позвать. Человек хороший, непьющий... Работаем вместе. Вы, – спрашиваю, – как – не против?

Евдокия губы поджала:

– Здрасьте! А мы-то при чем? Хочешь звать – зови.

– Ну как же, – говорю, – семьей живем.

– То-то и оно, – отвечает. – В се?мью таких гостей не водят – на стороне как-нибудь устраиваются.

– Да бог с тобой, Евдокия Тимофеевна! – Ариадна за меня заступается. – Что же ты такое говоришь?..

– Да уж говорю, значит, знаю. Не со вчерашнего на свете живу. Только учти – дите все видит, все замечает, как вы бабкам ее возьметесь подкладывать, чтобы блудить не мешала.

Гликерия руки об фартук вытирает – глаза в пол.

– Может, – говорит, – и вправду сюда-то не стоит...

– Вот-вот, – Евдокия подхватила, – ты ее слушай. Она у нас мастерица – по этаким-то делам.

Глотаю. Комок в горле. Слезы капают. Гликерия поглядела – рукой

махнула.

Ариадна чашку сдвинула:

– Не пойму, что тут особенного… Придет человек, попьет чаю.

Евдокия плечом дернула.

– Ну, глядите… – говорит. – Как бы после плакать не пришлось – кровавыми слезами умываться… Сам-то он где обретается – в общежитии?

– Пока что, – объясняю, – в общежитии. К майским комнату обещали дать.

– Ну а ты ему на что будешь – ежели комнату дадут?

Растерялась, прямо не знаю, что и сказать. Гликерия руками всплеснула.

– Злая ты, – говорит, – Евдокия. Все-то у тебя не полюдски.

– Чего ж тут – не по-людски? – усмехается. – Мужик он свободный: ему свободная баба нужна либо – девка. Ты вон, небось, на детей не захотела. А тут еще – немая… Своих-то инвалидов бросают – а такую-то разве станет кто жалеть?

Ариадна не слушает:

– Если в гости придет, надо принять как следует. Обед праздничный приготовить, к чаю купить.

– Бутылочку еще, – Гликерия губы облизнула.

Евдокия стулом пристукнула – ушла.

Ночью лежу – из головы нейдет: слова ее злые. А это-то особенно: инвалид. А ну как, думаю, ее правда? Мало слезьми умывалась – снова горя ищу… Да ладно себе – дочери… Глаза закрыла: сон давешний, боюсь, приснится. Что скажу, как оправдаюсь?

Проснулась: нет. Не приснилось, не привиделось. Чернота одна. На работу иду – все раздумываю: звать, не звать. Пока дошла, решила: не стану. А не дождется – значит, так тому и быть.

В обед подходит – улыбается. Глаза веселые. «Ну, – спрашивает, – подумала? Я уж и подарочек ей купил – со знакомством. Меня ребятишки любят. Я ведь младшим в семье – у старших сестер племянники мои. Бегали вместе. Я им и дядька, а вроде и друг-товарищ».

Молоко прятать пошла: что ж это жизнь проклятая делает?.. Евдокия-то прямо зверь зверем. Верно Гликерия сказала: все не по-людски. Будто в Америке живет. Жизнь у ней, конечно, нелегкая, всех похоронила, но так-то рассудить – а Ариадна? У нее ведь тоже все в земле лежат, уж и косточки сгнили, а сердце живое осталось…

Ладно, думаю. Пусть Сюзанночка ненадолго выйдет – познакомится, подарок примет. А за столом ей делать нечего. Объясню: стесняется ребенок, да и к гостям не приучена. Старухам только накажу, чтоб молчали. Авось, и не заметит. А потом-то, может, она ему и глянется – девка умная, пофранцузски знает. Скажу, врач смотрела, не нашла ничего. Бог даст, заговорит.

Гликерия учит:

– Ты гляди, обновку свою надень.

– Хорошо, – говорю. – Только вы-то, главное, Евдокию Тимофевну попросите. Пусть уж про немоту молчит.

– А сама чего ж? – спрашивает.

– Так сердится она, – отвечаю.– А к вам и прислушается скорее.

Гликерия, гляжу, мнется. Стоит – не уходит.

– Ты, – говорит, – сердца на нее не держи. Жизнь ее такая – вроде доски стиральной: ребрами да ребрами... Думает, раз жизнь вокруг басурманская, значит, и люди все – басурмане. А Бог милостив. Чистых душ все одно больше. Может, и тебе повезет...

– Спасибо вам, Гликерия Егоровна. И на добром слове, и на пожелании. Вы и сами знайте, и обеим другим скажите – как бы ни сложилось, доброты вашей не забуду. Вы мне – семья. А что ошибку по молодости совершила – этого больше не повторится. И не сомневайтесь.

– Вот, – говорит, – и Господь с тобой. Ты ведь нам тоже родня. – Руку подняла, в щепотку сложила. – Нагни, – велит, – головку.

Крестик надо мной положила: ровно как мать. В детстве, бывало...

К дверям пошла – оборачивается:

– А ежели что, так не теряйся – про уксус-то не забудь...

Так-то хорошо вроде: селедочка, огурцы соленые... Кагора бутылку взяла. Картошки наварим. Лучок на постном масле обжарить... Винегрет-то, думаю, не буду – не праздник. Вот если на майские, тогда уж. Блинков напеку. Сюзанночка блины любит. Хорошо, авсе одно – не по себе. Как представлю застолье это: старухи сидят, зыркают. А потом – как ему объяснить? Скажу: родня материна, седьмая вода на киселе. Дескать, сперва и знать не знала, а потом родней и сочлись...

В переднюю вышла – тут только вспомнила: платье-то... С блинами этими закрутилась, забыла совсем. Да уж поздно теперь...

Открываю – стоит:

– Здравствуйте вам.

Голос степенный, а глазом-то мигает – весело ему.

– Хорошо! Пирогами с лестницы пахнет. Ну, где же дочерь твоя?

Тут только заметила – коробка у него. Сюзанночка, кричу, выйди.

Из комнаты выглянула. Глазенки такие круглые. Евдокия тоже выходит – у притолоки замерла.

– Познакомьтесь, – говорю, – вот: Евдокия Тимофеевна. А это – Николай...

– Никифорыч по батюшке, – он мне подсказывает.

– А вот, – обернулась, – дочь моя, Сюзанна.

Коробку ей протягивает. На меня глянула – взяла.

– Это, – ей объясняет, – юла называется, по-нашему – волчок. Знаешь, как играться? – Головой качает: не знаю. – А я вот покажу.

Назад забрал, открыл. Донышко красное, наверху – стеклышко прозрачное или пластмасса. Под стеклом – упряжка: лошадка, кучер на облучке. На пол поставил – за ручку берется... Крутится, вертится – музыка тоненько поет... Понеслась... Сюзанночка рот раскрыла – любуется.

– Ну, – спрашивает, – сама-то сумеешь? – Юла кувырк на бочок. – Что-то ты, я гляжу, неразговорчивая. Меня, что ли, напугалась? Так не бойся. Я же не серый волк.

– А она у нас, – Евдокия голос подает, – вовсе не разговаривает. Немая с рождения.

Стою – сердце полоснуло.

– Так уж, – он-то улыбается, – немая... Немые-то – не слышат. А она и слышит все, и понимает.

– Понимает, ой, понимает, – подхватываю. – Даже книжки французские понимает. И передачи по радио...

Говорю, говорю – голос торопится, будто опоздать боюсь. Сюзанночка

юлу с полу взяла. Бочком и – к себе. Вот, думаю, змея Евдокия, или Гликерия забыла передать... В комнату заглянула.

– Ты, – говорю, – здесь пока побудь. А я тебе блинков принесу.

Стул придвинул.

– У нас, – на старух смотрит, – в деревне малец был, постарше меня. Молчал все. Тоже болтали разное: дескать, немой. Лет до семи молчал, а потом ничего, разговорился. Подрос, выровнялся – пионером стал. В войну погиб, правда. А так бойкий вырос. Это он в детстве напугался: раскулачивать их пришли. Зимой на снег выгнали, а потом разобрались – признали середняками. Вот я и говорю: бывает, напугается, а потом и проходит.

Евдокия вскинулась вся:

– Ей-то с чего пугаться? Нас никуда не выгоняли. Тихо живем.

Гликерия сидит – глаза отводит. Головой покачала – ладно, думаю, после с тобой разберусь.

Выпили, закусили – блины подаю. Гликерия один подцепила – чует кошка...

– Что ж вы так, – говорю, – Гликерия Егоровна, или аппетиту нету?

– Да какой, – отвечает, – аппетит – в мои-то годы...

– Ох, – Николай головой покрутил, – вкусные блинки. В наших краях на обед не пекут. Глупый народ, суеверный – блины, говорят, на поминки.

– В деревне-то, – отвечаю, – конечно. У нас тоже – на поминки. В городе – другое дело. Обычаи не соблюдают.

– Вот, значит, – обращается, – Евдокия Тимофеевна. Хорошую дочь вырастили. Работящая, скромная, на производстве ее уважают. Я вот тоже...

Батюшки, сообразила. Он же за матерь ее почитает. На Евдокию покосилась. Кивает. Молчит. Ну и ладно. Оно и лучше. Чего зря болтать... Я других-то – по имени-отчеству, а к ней – так, без имени: вы да вы.

– Этот-то парень, который молчал, когда уж говорить начал, забыл, что раньше было – ну, пока немой. И взрослый уж вроде, а напрочь из головы вылетело. Вот я и думаю: неужто немота действует? Пока молчишь – и памяти нету?.. Наверное, ведь так... Ох, – вспомнил, – дразнили его потом: «Ну-ка, Минька, расскажи, как тебя раскулачили? Помнишь?» Озлится весь: не было, орет, этого, не было! Не помню! Середняки мы. Так и дразнили его – Середняк.

– А вы, – Евдокия не утерпела, – из бедняков, видать?

– Мы-то – да, – подтверждает, – отец мой из первых записался.

– А чего ж, – спрашивает, – сами в колхозе не остались? Как бы хорошо...

Ариадна глянула коротко – головой покачала.

– Да чего ж, – нахмурился, – хорошего... В городе-то лучше. Вон Петр соседский в армии отслужил – в Москву подался. Приехал. Подарков навез: матери – ситцу, платок еще. Туфли сестре. Хвастал: комната, мол, своя. Зарплату дают деньгами. Мать послушала-послушала, а мне как раз в армию идти... Ладно, – брови сдвинул, – болтаю больно... Давайте за здоровье ваше выпьем: долго живите, не болейте. И чтобы дети ваши здоровыми были да вас радовали.

Евдокия прямо смотрит.

– Хороший тост, – говорит. – Грех за него не выпить.

Николай выпил, отставил аккуратненько. Другие-то не стали.

Гликерия одна пригубила.

– Ой, – я-то хватилась, – пойду блинков ей отнесу – обещала.

Сюзанночка юлой забавляется. Крутит-вертит, лошадка так и бежит. Пригляделась я, надо же: хитро придумали – лошадка эта еще и скачет, вроде по кочкам.

– Ну, – спрашиваю, – понравился подарок?

Глянула на меня: глазки востренькие, понятливые. Неужто, думаю, и про юлу эту не вспомнит? Ну и пусть не помнит – лишь бы заговорила...

Покушали. Николай поднялся.

– Спасибо, – благодарит, – хозяюшка. Все очень вкусное. Может, комнату свою покажешь – поглядеть.

Евдокия губы поджала:

– Так ребенок там. После обеда спать ложится. Вы уж тут, в кухне побеседуйте. А мы пойдем – тоже приляжем.

Посуду убрала – села к столу.

– Да, – Николай говорит, – мамаша у тебя строгая – генерал. С такой-то не разгуляешься. А эти, другие, сестры ее? Меж собою очень похожи.

«Чем же они, – думаю, – похожи?»

А сама отвечаю:

– Ага, вроде того.

Сидим – он руку-то мою взял. Приятно мне, только слышу – шаркает кто-то. Руку вырвала – сижу. Гликерия в кухню выходит: «Водички, – говорит, – попить. После винато – жажда». Нацедила – ушла.

Стихло вроде. Он только-то потянулся – снова шаги. Евдокия дверь открывает.

– Уложила, – говорит. – Только не уснет никак – беспокойная чего-то. Пойду рядом посижу.

– Ну, – Николай встает, – и мне пора. Завтра на работу – лечь пораньше.

В прихожей прощаемся.

– Я ведь тоже, случается, по матери скучаю. Она у меня строгая. А потом – не-ет, думаю... На свободе-то веселее...

Ушел. Посуду взялась мыть. Вольно? им на свободе веселиться... А тут – вертишься день-деньской, вроде лошади этой. По кочкам да по кочкам... Смахнула слезу.

Гликерия телевизор смотрит – удивляется:

– С утра вроде показывали... Гостя этого.

– Утренний, – Ариадна поправляет, – из Польши был, а этот – из Венгрии.

– Да черт их всех разберет, – Евдокия ворчит, злится, – по мне, так все на одно лицо...

– Ну как же! Поляки за нас воевали. А венгры – за немцев.

– Теперь-то, гляжу, разъездились... В войну надо было.

– А я вот чего слышала, – Гликерия робеет. – Будто бы за границей лучше нашего жили – до войны.

– И немудрено, – Евдокия откликается. – У них, небось, ни революции, ни Гражданской – чего им не жить?

– Вот... – Гликерия ободрилась. – Мне Василий безрукий рассказывал,

который у Никольского.

– Помню его, – Евдокия кивает, – в домино играл... Руки-то – по локоть вырваны, так он культяпками наловчился. Еще и зубами помогал.

– Вот-вот, – обрадовалась. – Войну в Чехословакии заканчивал. Ох, и восхищался ихней жизнью. «Там, – говорит, – заводы обувные – Бати». То ли кличка такая, то ли фамилия у них – не поймешь... «Знатную, – говорит, – обувь шили. Офицеры, кто пошустрее, хорошо запаслись – все под чистую выгребли, а я вот, – жалел, – дурак. Руки на войне потратил, а они вона когда бы сгодились. После победы...»

– Дурак, – Евдокия соглашается, – и вправду дурак болтливый... Вот их из города и выслали. Теперь уж помер, небось...

* * *

За мешками на склад иду – Зоя Ивановна навстречу: «Вот, – говорит, – Беспалова. Хорошо, что попалась. В местком зайди после смены – дело к тебе есть». – «Что, – спрашиваю, – за дело? Вроде очередь-то отметили». – «А ты прям как ангел небесный... Думаешь, только и дел у нас, телевизоры ваши отмечать. Сама-то за собой, что – иных грехов не чуешь?»

Губы яркие, красные – помадой малюет.

Николая нашла: «Сегодня не дожидайся после смены. Зоя вызывает – надумала чего-то. Не иначе, снова отчитывать примется, чтобы ребенка – в детсад сдать. А чего ей там, в саду? Дети – злыдни: со свету сживут. Считай, отдать на му?ку».

«Так урезонь ее, – брови сдвинул. – Объясни по-людски. Молчит раз ребенок». – «Что ты, что ты! – руками замахала. – Она ж не знает ничего. Ни одна душа не знает. Ты вот только».

«А и верно, – говорит. – Нашим бабам попади на язык – такого распишут, чего было и чего не было». – «Да это, – говорю, – пусть бы болтали. Ведь другого боюсь: по больницам ведь затаскают, загубят девку». Случай ему рассказала: про мальчонку того – с водянкой мозговой. «Да-а, – сочувствует. – Врачи-то они всякие. Случается, нарочно вредят... Вон, – говорит, – евреи. Вредителей среди них открыли, я первый голосовал». – «Так, – напугалась, – вроде оправдали ж потом?»

«Этих, – смотрит, – оправдали. А другие-то, может, и вредят». – «Да как-то, – говорю, – не верится. Все-таки врачи...» – «Чего, – говорит, – не верится? Немцы-то тоже не дураки, небось. Лагеря им специальные выстроили. Вот я и думаю: неспроста. Видно, не просто так. В общем, – заключает, – правильно опасаешься. Так и надо».

Иду, а холодно в сердце. Будто пальцы чьи на горле.

А у месткома ремонтники суетятся, леса ставят. Весь этаж лесами загородили. Дергаю, дергаю – заперто. «С другой стороны, – кричат, – иди. С этой закрыто».

Обошла. Дверь открываю – петли пищат. Красить-то красят, а петли смазать – нету их... Захожу. Олифой в нос шибает, а красота у них – прямо не узнать... Стены в зеленое выкрашены, стол большой – новый. Женщины за столом расселись, а Зоя Ивановна – во главе.

«Заходи, – кивает, – Антонина. Мы вот тут женским советом собрались – побеседовать по твою душу. Поговорим, о жизни твоей подумаем. Раз уж меня не слушаешь». Голос ласковый, тихий – будто муха осенняя. Жужжит.

Слушаю, а сама не знаю, и чего на меня нашло?.. Руки мокрые. О халат их вытерла – оглядываюсь. Чай у них, печенье в тарелочках – сидят, пьют. Сами в платья переоделись. Видать, в душе успели ополоснуться. Я-то как была забежала, в халате. По?том, боюсь, от меня несет. Стул свободный высмотрела – примостилась в уголку.

Зоя Ивановна узел поправила. «Вот, – приступает, – Антонина. Сигналы на тебя идут – на твою беспутную жизнь. Я уж и так и эдак – можно сказать, по-матерински, а тебе – и горя мало: по-своему норовишь. Нехорошо, чтобы женщина себя не соблюдала – ребенок подрастает, а тем более – дочь. Какой ей с тебя пример? Женщина, она – мать. А потом уж – остальное. По-женски, – оглядывается, – мы тебя понимаем, только и в стороне стоять не намерены – не имеем такого права. Вот и ответь нам: как у вас с Ручейниковым Николаем – серьезно или так?»

Головой киваю, а слов-то не вымолвить. Будто кол в горло вбили. Ни охнуть ни вздохнуть.

«А если, – продолжает, – серьезно, так замуж за него собирайся. А кобениться вздумает, мы его мигом под микитки. Ишь, устроился – бабу нашел. Теперь, говорит, комнату обязаны. Это, я так понимаю, чтобы было куда водить. В комнате сподручнее. В общежитии-то не ахти развернешься».

Гляжу, Парменова Валька руку тянет – просит слова. Сама гладкая, широкая – титьки через грядку. «Я, – начинает, – как думаю. Антонина не больно виновата. Мужик, какой ни есть, а в загс его не затянешь. Раздумывать будет».

Зоя Ивановна ее послушала – носом повела. Только теперь заметила: нос у ней утиный и сама на утку похожа – по столу локтями елозит, охорашивается. «Ничего, – говорит, – мы свою управу найдем. Видали мы таких – раздумчивых».

Тут засмеялись все. И сама с ними смеюсь, вроде и мне смешно.

«Женщина, – Зоя Ивановна лямку поправила, – хранительница домашнего очага». – «Чего-чего?» – Сытина переспрашивает. «Да, – объясняет, – пословица такая. По-нашему, плиты или печки, – руками повела, будто уголья загребает. – Значит, порядка в доме. Мужик – он что? – вроде телка?. Которому умная да ухватистая попадется – и сам такой становится. Вся дурь из него – как рукой... Вон моего возьмите: первое время норовил... А теперь и знать не знаю, чтобы с получки, к примеру, караулить. Кружечку, конечно, выпьет, а так – все в дом. Ты, Антонина, баба добрая, только податливая больно – так-то жизни не построишь. Одна беспутность выходит. А я вот еще примечаю: посторонняя ты. Мы-то все в одном котле, в коллективе, а ты в сторонке будто. Ведь сколько раз говорила: девку свою не гробь. В детский садик отдай. Куда там! – как об стену горох. Уперлась. Будто в садике – враги...»

Бурагова Верка руку подняла: «Где ж это видано, чтоб ребенка счастливого детства лишали? Это ж – не мать, а мачеха!» – «Ты, – Зоя Ивановна заступается, – тоже охолонись. Ярлык-то навесить недолго – много ума не надо. Не для того, – останавливает, – собрались, чтоб ярлыки друг на дружку вешать».

Все-таки добрая она. Спасибо ей, думаю. Бабам волю дай – заклюют. Ей-то, думаю, надо было открыться. Теперьто поздно, да и не ко времени – не станешь при всех.

Гляжу, Бурагова будто обиделась: «Мне-то чего? – губы дует. – Я ж за ребенка ее переживаю. Ребенок себя не защитит». – «Во-от, – Зоя

Ивановна соглашается, – это правильно. Пора, Антонина, за ум браться. Ну, – отпускает, – иди пока».

Вышла. Иду, не знаю куда. Туда ткнусь – закрыто, сюда – снова леса. Мешки по полу навалены, и не перелезешь... И ноги чего-то слабые. Спиной к стенке прислонилась. А в голове одно: дите спасать...

Вижу – идет кто-то. Пригляделась – он. «Ты чего здесь?» – спрашивает. А глаза – добрые, участливые. У меня и отлегло. И то сказать, с какой стати напугалась – будто уже отнимают?.. Тот-то, с водянкой, совсем больной.

«Да, – жалуюсь, – мешков навалили, черти». – «Ничего, – руку мне протягивает. – Пошли...»

За проходную вышли, про молоко-то в сумке и не вспомнила. Вот, думаю, страху нагнали, другой страх и отшибло...

«Чего звали?» – спрашивает. «Женсовет, – объясняю, – по мою душу». – «Фу-ты ну-ты, – головой крутит, – совет у них... Генералы. И какая ж на текущий момент диспозиция? Куда главный-то удар?» – «Опять про детсад заводят». Кивнул.

«А я, – мнется, – тебя дожидался, чего подумал. Все равно ведь узнается – рано или поздно. А в саду дети малые – ну посмеются, в крайности. В школе-то хуже. Там уж – зверье зверьем».

Больно мне. А сама киваю: верно... «Только не угадаешь ведь, где оно – хуже». – «Вот это правда, – соглашается. – Не угадаешь. Иногда думаешь – хуже уж некуда. А потом глядь, а все и к лучшему. Сколько таких историй! Вон Петр наш, который с подарками приезжал... Выпили, тоже рассказывал – как сейчас помню...

До войны было. В город приехал, не надеялся сперва. Думал, не скоро еще. А тут, глядит, вызывают: иди, говорят, выбирай. Три адреса дали, на усмотрение – он к тому времени выдвинулся: начальником участка стал. И комнаты большие, просторные, даже с мебелью. Одну посмотрел, другую – в третью приходит, а там старуха. В прихожей на сундуке сидит. Сама старая, страшная – прямо смерть.

Он – мимо. Даже не поздоровался. Думает, все равно глухая тетеря – не услышит. А старуха сама окликает: «Ты чего, мил человек, к инженеру вселяться?» Петр-то удивился: «К какому инженеру? Мне, – бумажку вытаскивает, – смотровую выписывали, сказали, что свободная». – «Свободная, – шамкает, – свободная. Что ни год, аккурат новый постоялец – трое уж вас сменилось». – «И куда ж они, – спрашивает, – деваются?» А старуха-то глядит, головой покачивает: не то кивает, не то так – от старости: «Ну, дак, вселись – сам и узнаешь...»

Поглядел комнату – ох, хорошая. Попрощался – на двор выходит. А мальцы в мячик гоняют. Вот он одного подозвал: «Не знаешь, – мол, – куда инженер делся, который в такойто квартире?» А мальчонка даром что малец. «Почему, – смеется, – не знаю... Все знают. Расстреляли его».

В общежитие вернулся, а самому не по себе. «И чего мне, – думает, – этот инженер?» А сам будто голос старухин слышит: «Вселись, – дескать, – вселись...» А комната хорошая, и из мебели много: и шифоньер, и стол обеденный, и стулья. Самая лучшая – из всех из трех.

Вот он день ходит, другой ходит. «Мало ли, – думает, – инженер этот... Я-то, небось, не инженер. А потом, – думает, – малец ведь мог и спутать.

Народу-то без числа уезжало – может, на Урал куда, на стройку...» До войны где только не строили – вот и освобождалась жилплощадь. А потом решает: нет. Не буду вселяться. Слава богу, выбор есть – две другие остались.

Снова отправился. Вроде и комнаты неплохие, и соседей немного, а не лежит душа. Так и тянет в ту-то, инженерскую. Сами ноги несут. Ладно, думает, нечистая сила, еще разок гляну – напоследок. А самому страшно... И мужик вроде правильный – не робкого десятка... А тут прямо оторопь его берет: будто сам убивец. Их, говорят, на место тянет... преступления.

Приходит, а в квартире пусто – только девка молодая. Дверь ему открыла, сама в кухню пошла. На сундук покосился – нету старухи. Он в кухню. А девка у плиты толчется – варит чего-то. Вот он ее и спрашивает: «Где, – мол, – тут ваша бабушка? На сундуке сидела?» – «Какаятакая бабушка? Нету у нас бабушек». А сама белье мешает. Помешает, палкой подцепит и разглядывает. И белье какое-то грязное – в пятнах. Ржавчина будто или кровь... «Зачем нам бабушка?..» И опять – за белье. А из бака – дух поганый, так и несет гнильем. Постоял, понюхал – развернулся уходить. Даже в комнату не зашел. Будто и забыл.

Снова во двор выходит. Взял себя в руки – одумался. «Может, мало ли, нищенка». В деревне много их ходило. Особенно в голод. Мне и мать рассказывала.

Раскулачили одних, на подводу сгрузили. А бабка ихняя в лесу была – по грибы. Вот они всех-то увезли, а ее оставили. Соседи им говорили: «Бабка, – мол, – у них – воротится скоро». Эти-то, городские, подождали-подождали, а потом рукой махнули. «Чего, – смеются, – дожидаться... Все одно по дороге сдохнет – возись с ней. Вернется – сама помрет». Хлеб-то выгребли подчистую...

Вот Петр и прикидывает: подумаешь, белье. Чего он – грязи не видывал? Вонь тоже проветрится. В общем, вселился.

Между прочим, старуха эта так и не объявилась – видать, на разок зашла. А другие соседи хорошие. Мирно жили. И девка эта хорошая оказалась – старика одного обихаживала: дальнего родственника. Обещал оставить ей чегото, так она обстирывала его. Честный старик оказался. Монеты ей оставил царской чеканки. Сохранил, когда золото сдавали. Это Петр потом уж узнал, когда за девкой этой ухлестывал. Вроде уж и сговорились, только девка эта туберкулезом заразилась – сгорела месяца в три. А перед смертью тайник ему свой показала: прямо в комнате, под полом. Схоронили – он в тайник и полез. А там – пусто. Видно, из соседей кто прознал – опередил. Дом-то старый. Перегородки еле-еле. Повертелся-повертелся, да делать нечего – ведь не докажешь... И прав у него никаких нету. И опасно разговоры подымать. А тут – война.

На фронт его не взяли – бронь от завода вышла. В общем, в квартире этой всех мужиков поубивало, а ему хоть бы что. «Так что, – говорит, – зазря опасался. Тоже думал – к худу. А вышло – к добру. Счастливая оказалась квартира. Предрассудки, – объяснял, – одни суеверия. Мало ли, кто прежде-то жил? Пожили и ладно...»

«А ты, – спрашиваю, – в Ленинграде с какого?» – «Так отслужил как, – отвечает. – С сорок девятого. Первое время надеялся, думал: уж вот-вот. А потом и надеяться бросил. Видно, поздно явился – после войны много комнат было, а потом эвакуированные потянулись – на старые места. Так и прокуковал. Пятнадцатый год скоро... Потом-то и строить начали, да

снова очередь. Семейным дают, или как ты вон – с дитем. Ну, – говорит, – ничего. Теперь уж скоро подойдет. А может, в Москву надо было – там-то, небось, больше строят...»

«В Москве, – соглашаюсь, – хорошо. И врачи у них хорошие. Вон докторша рассказывала: один-то – немоту лечит».

«Как это? – удивляется. – Таблетками?» – «Этого, – говорю, – не знаю. Может, и таблетками... А может, заговоры знает. Раньше в деревнях лечили».

«Так ты, – советует, – возьми, да и съезди в деревню. Из старух многие остались: кто-нибудь да ведьмачит».

Какое! – думаю. Разве бабки отпустят... В церковь ходят. Особенно Гликерия. При них про этакое – ни-ни...

Попрощались, а сама думаю: про другое-то не рассказала. Забыла прямо. Заболтал он меня, видно, с этим своим Петром. А потом, думаю, да чего они ему сделают? Ну вызовут, в крайности попеняют... Разговоры-то – что? На воротах не виснут. Тем более мужик... Вот мне бы со старухами сговориться: как еще посмотрят?..

* * *

Улеглись все – к Гликерии пошла, постучалась.

– Можно, Гликерия Егоровна? Мне бы поговорить.

С кровати встала, а глаза отворачивает:

– Не виновата я, – оправдывается, – предупреждала Евдокию.

– Да чего уж... Дело прошлое. Сболтнула так сболтнула. Я – про другое. Как, – спрашиваю, – вы посмотрите, если я за Николая пойду?

– Имя у него, – отвечает, – хорошее: в честь заступника нашего и чудотворца.

А сама на икону крестится.

– Вот я и говорю: жалеет меня.

– Так-то, может, оно и так, – задумалась, – только ведь опасно.

– В чем же опасность? Из-за Сюзанночки? Так он и к детям – хорошо.

– Да про другое я, – мнется.

– Так вы уж объясните, – прошу. – Не у кого мне спросить.

Тут она к столу села – мне напротив указывает.

– А сама, – шепчет, – подумай. Не зря говорят: замуж – не напасть... Вот ты молодая еще – всего не помнишь. А я по молодости за графом жила.

– Как это, – изумляюсь, – за графом? Вы что же, Гликерия Егоровна, – графиня?

Спросила, а самой не верится. Графини-то другие, небось. Я и в книжке видела: платья у них колоколом, на голове шляпа с перьями. Уж сколько шкаф ее перетряхивала – тряпье одно.

– Да какая графиня... – смеется потихонечку. – Так жила. Мать-то моя из ихних крепостных. Добрый был, хороший и меня страсть как любил. Венчаться предлагал. А мне и боязно: куда там! Ни сесть, ни присесть не умею. Сказала ему. А он смеется: «Ты у меня самая красивая!» Да так ведь сказал, что я и решилась. А тут – революция. Вот он и просит: поехали да поехали. У нас, говорит, дом есть во Франции – там переждем.

А у меня дочь родилась незадолго. Вот ее в деревню и отправили – в Черниговскую губернию. Имение у них было в тех краях.

– Зачем, – удивляюсь, – отправили?

– Так говорю тебе – невенчанные. Ребенок-то прижитой, незаконный.

Господи, думаю... Это ж нелюди какие-то. Теперь-то, слава богу, не так.

– И что, – спрашиваю, – всех, что ли, отправляли?

– Да, старались, конечно. Скрывали позор. Кого в приют, кого – в семью. Бедные-то семьи принимали за деньги.

Ох, про себя думаю, прямо хуже, чем в Америке. Этих-то с работы только гонят. Вроде не принуждают в приют. Слава богу, что революция... А так-то, не приведи господь, и Сюзанночку...

– Первое время тосковала, а потом – ничего, утихло. Я ж ее толком и не видела. Унесли сразу. И крестили без меня. Он уж после сказал: нарекли Серафимой. Вот я и говорю: «Поедем, только за ребеночком съезжу. Чтобы уж вместе – а там как Бог даст...» А он: «Чего, – мол, – ребенка с места трогать? Вернемся месяца через три». А я: «Нет». Уперлась. Ну он и разрешил. Поезда уж плохо ходили. Пока добралась, а мне говорят – померла. Погоревала-поплакала, а обратно не выехать. Банды гуляют. Через год только и вернулась, а его нету. И в доме его другие поселились. Народу в каждой комнате! Мне и не приткнуться. Дворника нашего встречаю. В третьем этаже занял. Раньше-то в каморке обретался... Вот он мне и говорит: «Граф, его сиятельство, за границу подались». Видно, ждал до последнего, надеялся. А потом стрелять их стали, он и побежал...

Скучала по нему, плакала. А теперь-то и думаю: ну повенчались бы... А потом? Одно дело – полюбовница. Их не больно дожидаются. А жена бы? Хочешь не хочешь – а жди. Вот и дождался бы: самого – под пулю, и меня вместе с ним. Сколько их, жен, пропадало – из-за мужей своих... Его-то возьмут – и ее следом... Видно, бог меня уберег. Вон, возьми, у Евдокии. Старшего забрали – и жену. А уж какая барыня была... Не мне чета. И младший ее тоже. В органах служил. *Их* черед-то пришел – оба и сгинули, с женой.

– Кого это – их?

– Ну, которые в органах. Но их-то попозже. Допустили пожить.

Сидит, пригорюнилась.

– Ты ведь, небось, как думаешь? Я всегда старухой была? А в войну сватался один: хороший человек, еврей.

– Врач? – спрашиваю.

– Да-а, – кивает. – А ты-то как догадалась?

– Так, – глаза отвожу, – много их было – из евреев.

– Уж это правда, – обрадовалась. – Евреи – доктора хорошие. А Соломон-то Захарович – особенно. Как случай какой – к нему ведут. И сам из себя видный. На графа моего похож. Не лицом – повадкой. Тоже вдовец. Девочек у него двое. Я уж, было, и решилась. А он и говорит: «Если в Ленинград войдут, меня с девочками из первых расстреляют...» Вот я и подумала: и меня с ними. Погожу, решила. Наши верх возьмут, тогда и поглядим...

После войны снова начал – выходи да выходи. Наши-то одержали победу, значит, думаю, – судьба. А сама время тяну... И чего тяну – не знаю. Прямо бес вроде под руку: погляди, дескать, как пойдет. И точно: нацию ихнюю сослать намерились. Тут я снова задумалась: выйду – значит, и меня. Потом-то ничего, обошлось, слава богу. Только я с тех пор решила: все. Раз уберег Господь, другой, а третьего, может, и не будет. Так что нечего мне – замуж. Это уж, если по любви великой: чтобы все

равно было – хоть на жизнь, хоть на смерть. А с трезвой головы, так уж лучше одной... Перебиваться как-нибудь. Вот, – говорит, – все рассказала тебе. А так-то сама решай. Мы уж старые, долго не протянем. А случись чего, ее ж в приют заберут.

– Женсовет сегодня был. Меры, говорят, примем, чтобы женился.

Пальцем подманивает, в ухо мне шепчет:

– Это они нарочно. Вроде за жизнь твою заступаются, а сами только и думают, как бы скрепить с кем, чтобы сподручнее губить... – С места поднялась. – А так-то, – говорит, – выходи, если всем готова пожертвовать. И жизнью, и дочерью. А теперь, – просит, – одна я хочу. Богу помолиться.

Вышла – села в кухне. Слова ее горькие вспоминаю. Посидела, повздыхала – стирать надо. Который день замочено – завоняется. За тазы взялась, а руки не держат: прямо нейдет из головы. Все меряю на себя – прикидываю: готова ли на погибель... Нет, решаю, никак не готова. Ребенка больно жаль...

Легла – и не постирала. А в голове сумрачно. Прямо думать боюсь. С головой укрылась, собралась с духом, сама себя спрашиваю: «Вот если б Григорий мой – пошла бы с ним на смерть?» Только подумать успела, так легко мне сделалось, прямо сердце будто жаворонком. «Пошла бы, – отвечаю, – пошла...» И радость во мне такая, словно под венец собираюсь. В подушку уткнулась. Плачу, а сама думаю: в деревне-то все невесты плачут...

* * *

Евдокия за нитку дернула:

– В Мавзолей этот ходят, ходят... И чего ходить? На покойника любоваться? Своих им мало. Так еще на чужого... Ну чего? – моток отложила. – Была она у тебя? Или примстилось мне?

Гликерия глаза отводит:

– Была.

– Ну и с чем?

– Так, платье, – говорит, – хочет. Еще одно, к лету.

Евдокия левый глаз сощурила:

– Ох, и горазда... Молчала б уже. Вранье твое за версту видать. Ну?

– Замуж, – признается, – собралась. За этого Николая.

– Дождались, – брови свела. Сама туча тучей. – Пожили в спокое... Теперь по-старому пойдет. Софью – побоку, младенцев нарожают горластых.

– Ну, – Ариадна от телевизора отвлеклась, громкость убавила, – заступимся, если что...

– А они уж тебя послушались! Много она к тебе прислушивалась – Сытина эта? Сидела при ней с поджатым хвостом. Николай-то – ночная кукушка... Ну а ты что? Что, – спрашивает, – присоветовала? Идти али нет.

– Да что я могу... – Гликерия пальцем водит. – Сказала, сама думай – тебе, мол, жить.

– Уж это ты молоде-ец, – хвалит. – Верно присоветовала. Только наперед-то учти: Николай этот каждую копейку по пяти раз сочтет да в рот к тебе заглянет – много ли съела. С твоей-то пенсией – чуть что не впроголодь...

– Раньше-то, – отвечает, – жили...

– Ага, до реформы до ихней. Твои триста семьдесят – еще деньги были. А теперь? Цены-то как скакнули! Антонина рассказывает, а я на ус мотаю. Вот и будешь сидеть как собака: на хлебе да на воде. То-то, – щурится, – на винцо да на селедку облизываешься… Привыкли жировать в барских-то покоях.

Ариадна поглядела-послушала – кулачком как пристукнет:

– Слушать вас, – говорит, – стыдно. У Антонины, может быть, случай единственный… Раз в жизни выпадает. А вдруг – любовь?

– Любо-овь… – Евдокия носом крутит. – Только раньше надо было – пока подол пустой… А с дитем, да с таким, как Софья… В общем, – итожит, – вот вам мой сказ: ребенок в возраст войдет, тогда уж пусть выходит. Хоть за кого, хоть за пятерых разом. А любовь эта… Лучше бы не было ее – этой вашей любви…

– Грубая ты, – Ариадна головой качает, – а любовь – это же такое счастье…

– Во-во… Задурили вам головы в гимназиях. Ну расскажи-ка, чтоб и мы вместе порадовались: много ли счастья от этой самой любви? Вот ты, небось, замуж по любви выскочила… А я – нет. Родители сговорили. А теперь погляди: чем у нас у обеих дело закончилось? Вот то-то. А я тебе так скажу. Помнишь, в войну-то, песня была – про землянку? По радио все крутили. Ну так вот.

Сижу как-то в приемном, и докторша заходит, Клавдия Матвевна… У ней еще сынок был, аккурат перед войной родился. А муж на фронте. Здесь, под Синявиным воевал. Вот он месяц не пишет, два не пишет, а тут песню крутить принялись – что ни день… Она послушала-послушала и ободрилась: «Это, – говорит, – про меня песня сложена. Уж как мужа жду, и словами не выразить. Всякую ночь думаю: где он, да что… А песня эта – вроде молитвы. Я, – говорит, – в Бога, конечно, не верю, а вот в любовь… На нее моя надежда…»

– Под Синявино? – Ариадна переспрашивает.

Кивнула.

– Сынок-то хоть выжил? – Гликерия клубок нащупала, нитку меж пальцев тянет.

– Увезли. С ним ведь мать ее сидела, покуда не преставилась. Быстро сошла – прямо в первую зиму. Вот она в больницу его и носила. А потом-то, как силы кончились, и не принесешь. Летом – ничего бы еще… А зимой? Вроде и жила рядом, а потягай-ка через ледыхи… Главврач поглядел-поглядел да приказал с детдомом отправить. Она вместе-то дернулась, да военнообязанная… Неужели не помните? Светленькая такая – в чем душа держится… Косы богатые, длинные – укладывала круг головы… Как же называлось?

– Венчик мира? – Гликерия угадывает.

– Нет, – Ариадна лоб наморщила, – венчик мира – это после войны…

– Вещички его собирала – всюду буквы вышила. Как их?..

Ариадна шепчет:

– Инициалы.

– Вот-вот. И ко мне с этим приходила. «Мало ли что, – говорит. – Детей, конечно, учитывают, но мой совсем ведь маленький – имени своего не помнит. А тут поглядят на буквы, догадаются». Все спрашивала меня: «Как, – мол, – Евдокия Тимофевна, думаете?» А как я думаю? Разве скажешь ей?..

– На льду разбомбило?.. – Гликерия нитку дернула – разорвала.

– Не-ет, – утешает, – через Ладогу-то перебрались. Довезли до самого Ульяновска. Там и сгинул.

– Неужели, – Ариадна изумляется, – и следов никаких?

– А как же? Были следы. Бумагу казенную прислали.

– И что, ездила на могилку?

– После войны поехала, только ведь не сразу... Потом уж, года через три. Первое время, помните? Уезжать-то боялись: уехать уедешь, а обратно – по пропускам.

– Это я помню, – говорит Гликерия. – Вон Марья, сестра-хозяйка, в деревню решилась – мать у ней тогда помирала. А обратно ни в какую. Она и так и эдак. А все сроки и вышли. Приписали к колхозу. Потом-то приехала, а комната занята. Там ведь как: сосед в комнате поселился, себе захватил. Она, было, сунулась, а он не пускает – поперек дороги встал. А Марья, глупая, просит его еще: «Вещи бы хоть какие забрать». А он ей: «Нету. Иди отсюда – рвань деревенская. Ищи на помойке». – «Как же, – спрашивает, – на помойке? И платья там хорошие, и кастрюли».

– Ну как же так? – сокрушается Ариадна. – Пошла бы, к управхозу сходила...

– А чего к нему ходить? Сосед этот на продовольствии работал. Почитай, всю блокаду. Продукты на золото менял. Женщина какая придет – в тряпочке колечко или сережки. Тряпочку разворачивает, а сама плачет. Вот он ей хлеба с полбуханки и вынесет, а она еще пуще: «Ребенок, – говорит, – помирает. Последнее отдаю. Хоть бы еще полбуханочки добавить...» А он губы-то пучит: «Прокурор, – мол, – тебе добавит. А не хочешь – не надо». И куда пойдешь?..

– Что же, – Ариадна опять удивляется, – Марья куда следует не сообщила?

– Так он, бывало, и ее подкармливал, чтобы язык на привязи держала. Кусок сунет и учит: «Я, – дескать, – ежели что, от властей всегда откуплюсь. Там ведь тоже люди. Служить-то служат, а кушать все равно хотят...» И как у них выносить получалось? На хлебзаводах-то обыскивали...

– Ну, – Евдокия говорит, – видно, сосед-то непростой. Начальство. Чего им? Через проходную не носят. Война – не война. Даже сподручнее...

– Вот-вот. Управхозу, видать, сунул. Тот ему и выправил ордер.

– Ох, – Евдокия головой качает, – эти-то страсть обогатились. Так и шарили по квартирам. Как помрут, они и – шасть... Крысы крысами. Мебель, посуду, утварь всякую... Раньше квартиры богатые попадались, все разграбили в войну.

– Тебя послушать, – сердится Ариадна, – будто бы одни управхозы и грабили... Вон после революции – и управхозов не было, а тоже... И мебель рубили на дрова.

– А и рубили, – Евдокия губы поджала. – Барскую. А чего ж им? Конечно.

– Так что ж она, беленькая эта, нашла его могилку?

– Бе-еленькая... – Евдокия передразнивает. – Не беленькая, а Клавдия Матвевна. Строгая была – ты-то должна помнить.

– Ну не помню, – Гликерия руками разводит, – сколько лет прошло.

– Еще бы, – Евдокия ехидничает, – ты ж тогда шуры-муры крутила: где тебе упомнить...

До Ульяновска доехала и – в милицию. Стала спрашивать: «Где, – мол, – детский дом этот? Из блокадного Ленинграда вывезли». Бумагу им

показала. Там и номер стоит, и печать. С номером сверились, а он у них и не значится. Видно, транзитом прошел. Мертвых-то, должно, с поезда сняли и дальше отправились. «Может, во рву каком, – говорят, – у дороги. С поездов-то много покойников снимали – кто ж им вел учет?» Ну походила туда-сюда, постояла на насыпи – сынку своему поклонилась. Так и уехала ни с чем...

Ариадна глаза вытерла.

– Господи боже мой... – печалится. – Бедные они, бедные. Так по рвам и лежат...

* * *

Николай идет – серый прямо. Губы темные, обметанные.

«А ну, пошли-ка, – зовет. – Сама, что ли, сбегала или надоумил кто?» – «Куда сбегала?» – удивляюсь. – «Куда-куда... Так в завком. Я ведь как человек к тебе, – страдает, – а ты – вон каким добром...» – «Да каким добром? –напугалась. „А ты, – глазами меня све?рлит, – дурочку из себя не строй. Женсовет они собрали... А с чего, спрашивается? Мужики-то всё-о мне объяснили: ты – в завком, а завком – к женсовету. А эти и рады стараться... Ну чего смолкла? Ставили вопрос?“

«Какой, – не догадываюсь, – вопрос?» – «А чтобы, – глаз не отводит, – женился». – «Да сами они, – тороплюсь, – начали. Я и не заикалась». – «Во-от, – сморщился. – Значит, ставили. Тут она и есть, правда...» – «Да мало ли – ставили... Пусть себе ставят. Поговорят и забудут». – «Насчет забудут, этого не знаю, а поговорить – уже поговорили...»

Батюшки, думаю...

«И чего?» – «А чего им? – усмехается. – У них разговор короткий. С очереди меня сняли». – «С какой очереди? На телевизор? Так ты не сомневайся: ежели что, я отдам».

Тут он зубы-то сжал, застонал прямо: «Да какой телевизор! С комнаты, с комнаты сняли... К майским должны были... Теперь не дадут».

Слова-то вроде слышу, а в голове – пустота.

«Как же это – с комнаты? Столько лет ведь стоял...» – «А так, – сам-то чуть не плачет. – В завкоме постановили: женюсь, мол, отдельную квартиру выделят. На семью. И мастер туда же: “Гляди, – мол, – Николай... Бабы-то больно уж завелись женсоветские: добром, говорят, не захочет, силой принудим”. Только и ты учти: я ведь молчать не стану. И не надейся, – в стену глазами уткнулся. – До собрания дойдет, так все и скажу: дескать, не было у нас ничего. Ребенка на шею мне вешает. Инвалида. До последнего скрывала. Я и знать не знал...»

Тут только поняла. В глазах помутилось. Как стояла, шатнуло меня.

«И когда же, – шепчу, – собрание это?» – «А через месяц. За месяц промеж себя решать, а потом уж – общественность вмешается. Чтоб им всем ни дна ни покрышки...» – выругался грязно.

Рукой цепляюсь: спина ослабла. Все, думаю, отымут дочь. Сама не заметила, как сползла.

«Не губи, – за ноги его обхватываю. – Не губи ребенка...»

Он ноги-то дергает. «Чего ты, ты чего это... – бормочет, – вставай с колен».

Тянет меня, тянет... А я – ни в какую. В ногах у него ползаю. Вырвался: «А ну, вставай с полу. – Поднял, к стенке меня приставил. Сам красный весь. – Хорош из меня зверя-то делать... Сама ведь все устроила.

Чего ж мне, разве ребенка не жаль? Так что – месяц у тебя. Придумаешь чего – меня не касается. Сама бабам объяснишь».

«Да что ж я, – плачу, – придумаю?» – «А это, – глаза отворачивает, – твое дело. Хоть болезнь сочини какую – по вашей бабьей части. Дескать, замуж непригодная».

«Ох, спасибо тебе... – заторопилась. – Уж ты, – спешу, – не сомневайся: все, что надо, придумаю, лишь бы отступились».

Круго?м развернулся – пошел.

Домой бегу, прямо ног под собой не чую: скорей бы уж со старухами поговорить. Даром, что ли, в больнице работали? Присоветуют, какие есть болезни.

Дверь открыла: Сюзанночка меня встречает – улыбается. Юлу в руке держит. Как увидела – передернуло всю.

– Не смей, – кричу, – с игрушкой этой поганой играться!

Схватила, вырвала у нее. Она – в слезы. Евдокия в прихожую сунулась.

– Батюшки! – так и вскрикнула. – И чего ж это делается? На ребенка кидаешься... Пойдем, – зовет, – голубок. Пусть мать-то пока уймется...

Увела. А я и думаю: и вправду как с цепи сорвалась. Ребенок ни при чем. К Евдокии зашла – назад игрушку протягиваю:

– Ничего, – говорю, – деточка. На вон, играйся...

Поужинали. К телевизору сели: новости у них как раз. Глазами гляжу, а слов не различаю. Говорят, а будто не по-русски. В голове-то одно только: болезнь сочинить...

Ну все думаю: кончается. Про погоду завели. И забастовок вроде не было: видно, передышка у них... А может, прежние подействовали – хозяева-то и призадумались...

Ариадна ребенка уложила:

– Чайку, что ли, попить?

– А и попьем, – отвечаю. – Тем более разговор у меня к вам есть.

– Да уж, ясно, – Евдокия спицы сложила, ткнула в клубок. – Теперь у тебя одни разговоры – наперед известные.

– Господи, – говорю, – Евдокия Тимофевна, горе же у меня...

Гликерия так и ахнула:

– Не убереглась? Учила ж тебя...

– Да нет, – голову опускаю, – не это. Не было ничего у нас.

Гляжу, совсем растерялись. Евдокия-то вовсе белая. На дверь обернулась:

– Забрали, что ли?

– Кого?

– Ну Николая этого.

– Куда ж его забирать? – Тут только и догадалась. – Да за что ж его, – удивляюсь. – Типун вам на язык.

– Ну и слава тебе, – крестится. – Остальное-то разве горе?

Растолковала им подробно: и про завком, и про женсовет. Про комнату упомянула, конечно. Только про то умолчала, как в ногах у него валялась. Стыдно.

– Ну, – Евдокия губами жует, – и где оно – твое горе? Так ему, кобелю, и надо, чтобы впредь не повадно.

– Нет, – объясняю, – они ж чего заставляют? Женишься, говорят, квартиру дадим.

– Чего-то я совсем запуталась. Это что ж они, аспиды, намерились?

– Да они, – говорю, – ладно… Сам он – ни в какую. «Не желаю, – мол, – с ребенком, с инвалидом».

– Ишь, – Евдокия головой крутит, – видали, скотина безрогая. С инвалидом он не желает… Я те дам – инвалида! Да в десять раз умнее любого разговорчивого… А ты, дура, чего горюешь? Нет женихов, и этот – не жених.

Тут, чую, снова сердце ослабло.

– Так разве ж о себе… Он-то чего грозится: правду им раскрыть. Дескать, ребенка больного утаила… Прознают, по больницам замучают или в интернат. Месяц всего и дал, чтобы хворь придумала. Женскую, когда замуж не берут.

– Тьфу! – Евдокия в угол плюнула. – И только-то? Дак возьми и придумай. Вон их – болезней всяких… И бесплодие, и опухоли разные. Только выбирай.

– Туберкулез вон еще, – Гликерия помогает. – Опять же опущение матки. После войны сколько с этим маялось – тяжестей-то понатаскались.

– Так они справку, небось, потребуют – на слово не поверят.

– А ты, – Гликерия подсказывает, – возьми да сходи. У баб через одну хвори. Как придешь, чего-нибудь обязательно найдут. Вот и получишь справку. А в завкоме много ли понимают? Им-то что: болезнь и болезнь.

Ох! Обрадовалась. И вправду, что ли, сбегать… Вон живот-то у меня крутит – как чего подыму. Бумажку суну – мигом и отвяжутся.

Так ободрилась, прямо за стирку взялась. Тазы тягаю, а сама радуюсь: докторам только попадись… Болезней у них – цельные книжки. Авось, какую и подберут…

Ложиться стала: снова кровью мажет. А я и рада – утешилась совсем.

До обеда доработала и – к мастеру. «Вот, – говорю, – в консультацию мне надо. Уйду чуток пораньше?» – «Ну ты, – ворчит, – момент и выбрала: конец квартала. Раньшето не могла или уж попозже? Температуришь или чего?» – «Нет, – глаза отвела, – я по женскому делу». – «Ну этото, – разозлился, – разве срочно? И шла бы после смены». – «Нельзя, – говорю. – Очередь там, в консультации. Поздно явлюсь – не примут»…

Прихожу. Докторша приятная, молодая. И прическа у ней завитками, как в телевизоре. Вот, думаю, работа у них хорошая – не то что у нас в цеху. По лоб ведь замотанные ходим – и не видать из-под платка.

– Вы, Беспалова, когда в последний раз посещали? Карточки вашей нету.

– Да я, – отвечаю, – и не болела. Беременная-то приходила, конечно. Только другая доктор сидела – на вашем месте.

Вот она все расспросила: и про ребенка, и про роды. Листочек заполняет.

– Аборты были?

– Нет, – отвечаю, – не было.

– Половой жизнью живете?

Господи, напугалась…

– Нет, – говорю, – уж этого – нету.

А сама думаю: разве что во сне…

Докторша в листочке своем отметила.

– Так. На что жалуетесь?

– Да я, – говорю, – и не знаю… Живот бывает побаливает… На работе

натаскаешься, и дома тоже... Тянет внизу.

– Ну, – со стула встает, – раздевайтесь, пожалуйста.

Одежку снимать стала: батюшки, трико-то штопаное. Недоглядела с утра. Комком под одежду пихнула. На кресло это взобралась. А про себя отмечаю: аккуратная, руки под краном моет.

– Руки, – велит, – на груди сложите.

Помяла, помяла – нахмурилась.

– Мне бы, – прошу, – справку надо – в завком предъявить.

А она меня не слушает.

– Выделения часто? Обильные? Давно мажет кровью?

– Это, – признаюсь, – случается – мажет. Да уж с год.

– Что ж вы, – докторша сморщилась, – раньше ко мне не явились? Ребенку вашему сколько?

– Так шесть вот-вот будет. В школу через год.

– Вам, – к столу своему пошла, в листок заглядывает, – на операцию надо ложиться. И дело это срочное. Думайте, с кем ребенка оставить. Родные есть?

Что еще, думаю, за операция? Не было ж у нас...

– Мать, – отвечаю, – была. Померла.

– Опухоль у вас, Беспалова. В матке.

– Как же это, – растерялась. – Неужто сразу резать? Может, таблетки какие или мазь?

– Да какие, – головой трясет, – таблетки! Раньше надо было – запущено совсем.

– А это? – свое вспомнила. – С болезнью... Можно замуж?

Тут она листочки свои оставила, на меня как зыркнет:

– Вы, Беспалова, замуж собрались?

– Да нет, – отвечаю, – не то чтобы... Так интересуюсь. Мало ли, на будущее, а вдруг сложится... Один-то раз не сложилось.

– Можно, – глаза отвела. – Все можно. Только мужу не признавайтесь, что матка у вас вырезана... В общем, сдавайте анализы и – ко мне. Только уж хоть теперь не тяните. Чем раньше, тем лучше.

– А справку-то, – помню, – справку?

– Справку после операции получите, в больнице.

– А завтра как, – растерялась. – Обратно в цех?

– Да какой цех! – прямо кричит. – Домой, домой идите. Кровоточит у вас...

Вышла, а с мыслями не сладить. Как же это будет? Операция все-таки... Во двор спустилась – села на лавку. Вот, думаю, жила, себя соблюдала... Бабы-то как гуляют, и ничего им. Надька, вон, Казанкина... И запоминать не успевает. То один у нее, то другой... Что ни год, на операцию ходит. Отлежится и снова за свое. Уж сколько с ней бились... «А чего, – лыбится, – я в своем праве. Теперь законом не возбраняется...» А мне-то, гадаю, за что?

И горько так стало. Посидела, собралась с мыслями. «А вдруг, – догадываюсь, – во сне-то тоже считается... Был же грех...»

До булочной дошла, а низ-то болит. Докторша эта расковыряла: и чего было мять...

Старухи встречают: «Ну, дали справку?» – «Нет пока, – отвечаю. – А болезнь нашли. Опухоль у меня в матке». – «Господи, – Евдокия руками

всплеснула, – у тебя-то – с чего? Молодая еще... В матке – это к старости ближе».

«Ты, – Ариадна вступает, – сама-то как себя чувствуешь?»

«Да побаливает маленько или, бывает, мажет. Докторша тоже сказала: иди, мол, кровоточит». – «Ну, – Ариадна подбадривает, – кровоточит-то от разного. Мало ли, полип образовался... Что, назначили лечение?» – «Так, – отвечаю, – какое у них лечение? Сказали резать».

Гляжу, головой качает.

«Ладно, – утешаю их, – обойдется, может».

* * *

Сели, Евдокия снова жалуется.

– Плохо мне с утра. Вязать взялась, а нитки у меня путаются. И петли кривые выходят – не поймешь, не то изнанка, не то лицо.

– Так ты, – Гликерия советует, – узор бы взяла попроще.

– Да куда уж проще: пу?танка. Сколько раз вязала, а сегодня – прямо руки не владают... И кошки под утро снились.

– Черные, что ли?

– Всякие, – отвечает. – Сижу будто. А вокруг – клубки. Вот кошки с ними и резвятся, катают в когтях. Встать бы, думаю, шугануть шваброй, а сил и нету... Клубки-то эти и раньше снились. А кошки – впервой... Видно, – говорит, – плохо ее дело. В таком-то возрасте *процессы,* ох, шибко идут...

Вон, помню, у одной грудь затронуло: резали, резали – все одно в полгода сгорела. А уж как она, бедная, надеялась – в глаза всем заглядывала. А врачи-то чего? Утешали ее, конечно. А промеж себя – другое. Померла – двоих оставила. На мужа.

– Да что ты! – Гликерия пугается. – Опухоли-то всякие: может, и не *процесс* ... И докторша совсем молодая. В больнице врачи опытные – посмотрят. Вон, рассказывали, перед самой войной мужчину привезли – тоже на онкологию.

Евдокия перебивает:

– К нам, что ли?

– Нет, – отвечает, – в другую какую-то. Вроде там, на Международном.

– Ну? И чего?

– Разрезали. Смотрят: метастазы. И такие страшные – и в печень, и в почку. Ему-то не сказали, только и сам грамотный – в карточке прочитал.

– Как это? – Евдокия сомневается. – Карточки в ординаторской – под замком.

– А у него, – объясняет, – амуры начались – с одной сестричкой. Она ему и открыла.

– Аму-уры! – Евдокия головой крутит. – Метастазы – какая стадия? Там уж не до амуров...

– Ох, – вздыхает Гликерия. – В этих делах всяко бывает, я уж нагляделась. Сами-то вроде одной ногой в могиле, а туда же... Вон у нас один – туберкулезный...

– Ладно тебе! – Евдокия окорачивает. – Кто про что, а вшивый про баню. Замолчала – обиделась.

– Ну, – та-то торопит, – а дальше чего?

Вздохнула.

– Так война как раз. Ну домой его выпустили. Умирать. А он – раз! – в

военкомат. Все равно, думает, конец, так лучше уж с пользой – на фронте. А этим-то, в военкомате, тоже разнарядка. По добровольцам. Вот они его и взяли. Все равно, думают, ополченцам-то этим – на смерть...

– военкоматах, – Ариадна сомневается, – ведь тоже комиссии были – отбирали по здоровью.

– Так в сорок первом же, – волнуется, – хорошенько-то вспомни...

– Ох, и правда, – Евдокия вздыхает. – Не знали, куда и кидаться...

– Ну вот, пошел он. Вначале-то, конечно, сказывалось – боли у него и слабость. Смерти искал. Нагляделся, видно, как раковые умирают... Как какое задание – он уж первый: и в атаку, и в разведку... Смотрит, а смерть-то его обходит: здоровых как серпом косит, а его милует. А тут как раз десанты пошли – под Синявином. Утром выбросят человек двести, а к вечеру считают. Хорошо, если с десяток осталось, и те покалечены. Вот и решил он сам напроситься. Дескать, смерти последнюю проверку сделать. А им-то что, раз он сам? «Дак иди», – говорят. Приготовился, письмо родным написал и пошел. Как уж там было – никто не знает. А вернулся один-единственный. Первое время в беспамятстве лежал, не узнавал никого. Мертвых своих видел – с кем в десант отправлялись. А потом ничего – пришел в себя.

Чувствует: нету боли. И тошнота прошла, и слабость. Так и дошел до Берлина. Возвращается – думает: в больницу надо сходить. Провериться все-таки. Приходит. Врачи его карточку открыли – изумились. Он уж мертвый лежать должен. А он – живой и в орденах. Стали смотреть, а нет метастазов: одни здоровые ткани.

– Как же так? – Ариадна прямо и ахнула. – Куда ж они исчезли?

– А пропали, – отвечает, – будто и не было их. Сами собой рассосались. Он-то верующий, должно. Чудеса ведь по вере...

– С раком с этим, – Евдокия говорит, – всяко бывает... Я тоже слыхала: дескать, клин клином. С испуга какого или, еще лучше, с горя. Только горе-то не любое, а смертное. Чтобы уж самое ни на есть... Вот смерть со смертью и сцепятся – навроде собак. Бывает, одна одолеет, а бывает – и обе отступятся: загрызут друг дружку...

– Я читала, – Ариадна вспоминает. – Только в книге подругому сказано: Добро со Злом.

– Не зна-аю, – Евдокия раздумывает. – Смерть со смертью – видала. Страх со страхом. А чтоб добро со злом... Когда писали-то?

– Давно, – рукой махнула, – до революции.

– Ну дак... В те времена и жизнь другая была, и смерть. И зло с добром другие. Раньше-то силы ихние одинаковые – неизвестно, кто кого переборет... А я так скажу: случай – случаем, – нахмурилась, – а хирург, видать, хороший попался. Все, что надо, отрезал. Теперь-то – не то. Не знаю я этих, нынешних. Прежние в царское время учились: вот бы тем показаться...

– До войны, – Гликерия заступается, – тоже учили. Студентов пришлют, так Соломон Захарыч их учит – они уж с ног собьются. Ходят за ним, в тетрадки записывают. Спрашивал строго: что да как...

– Постой-ка, – Евдокия вспомнила, – так Соломон-то твой – гинеколог.

– Хватилась! – руками разводит. – Где ж его теперь... Лет двадцать не виделись: может, помер.

– А так-то, – Евдокия говорит, – с бухты-барахты и – под нож... Этим-то все одинаково: что человек, что собака. А потом чего? Как мы одни – с ребенком?

– Господи, – Ариадна первой сообразила. – Случись что, нам ведь ее не оставят. В детдом заберут. Мы ж ей – никто.

– Как это – никто?.. С какого ро?стили… Неужто в приюте лучше?

– А ну, тихо, – Евдокия цыкнула. – Ариадна дело говорит. Сколько случаев: родным бабкам не оставляли, а тут – нам… Ох, – стонет, – дура я беспросветная… Своим умом не дошла, а вон оно – горе. К дому подходит – в ворота стучится. Все, – отрезала, – одна надежда на Захарыча. Хоть костьми лечь, а сыскать.

– Да где же?.. – Гликерия напугалась прямо. – По городу, что ли, рыскать, в дома стучаться? Много ли вы?ходим – на таких ногах? А помер если? Не призовешь с того света…

– А хоть бы и с того, – Евдокия сидит – лицо скорбное, каждая косточка видна. – Он – надежда наша и спасение. Больше рассчитывать не на кого.

– Свят, свят, свят, – крестится. – Слова твои – богохульные. Спасение-то – от Бога.

– А ты, – губы поджала, – Господом меня не стращай. Не хуже твоего верующая. Только Бог-то от жизни нашей отступился. Разве допустил бы этакое? Уж я всю жизнь на коленях: и что, отмолила кого?.. Ладно – мы проклятые. А Софью не дам. Накося, – дулю сложила. – Вон им – аспидам. Весь мой сказ.

– Да как же? – Гликерия бледная сидит. – Мы против них – козявки. Не заметят, как раздавят…

– А я, – говорит, – за жизнь ихнюю не держусь. Пожила-повидала, слава Богу. Есть чего на том свете рассказать. И в аду такого не выдумать, чего на земле сподобили. Так что нечем меня стращать – пуганая. Всю жизнь продрожала – хоть напоследок разогнусь… А ты, ежели сомневаешься, посиди да подумай.

– Не о чем, – обижается, – мне думать. Привыкли из меня дуру делать. А я вот скажу: ежели жив – найти-то всегда можно. Я вот кино видела – до войны. Там ехал один да влюбился по дороге. А девка-то ускользнула…

– Тьфу, – Евдокия плюнула, – это-то здесь при чем?

– Так он фамилию ее выведал и – в адресный стол. Фамилия у него редкая – не то Рафульсон, не то Рифальсон. Я, – смущается, – и по молодости путала, а переспросить неловко… Нация у них больно обидчивая.

– Так, – Евдокия плечом повела, – тоже пуганая.

– А где же, – Ариадна оглядывается, – этот справочный стол?

Молчат – глядят друг на друга. Дальше церкви сколько лет не ходили.

– Ничего, – Евдокия говорит. – Язык, слава богу, не отнялся. От людей разузнаем. В Никольском порасспросим, а то и у нас в конторе. Вон к майским-то все одно идти – стоять за мукой…

– А Софьюшка, – Ариадна вспомнила, – где?

– У себя сидит. Снежинки из бумаги режет. Гликерия научила, так теперь не оторвешь. Сколько бумаги извела.

– Красивые у ней получаются, кружевные. Всю землю, говорю ей, засыпешь. И зимы не надо. Вон, говорю, весна уж на дворе. Какой теперь снег?

За окно глянули, а там и правда сыпется. Вроде и не будет весны.

IV Гликерия

Гликерия сервиз с полки снимает – что уцелело. Чашек – пять, тарелочек мелких – четыре. Блюдец всего ничего – три. «Блюдца, – Евдокия указывает, – убери. Прошлый раз нехорошо получилось – разнобой. Уж лучше тарелочки заместо. Ариадна витые ложечки даст».

Гликерия суетится, оглядывается. «Давай уж, – говорит, – у тебя Соломон Захарыч – обеспеченный: в кухне не привыкши». – «Да как у меня-то?» – «Ох, – спохватилась, – там же Антонина лежит».

«Вот ведь как бывает, – Ариадна ложечки протерла, – сколько лет рядом жили – не встретились. А ведь мимо дома его ходили...» – «Так лет десять, поди. С дочерью старшей сменялся. В отдельной теперь живут – сами по себе». – «Надо же, – Ариадна удивляется, – а я и не думала, что остались. Отдельные, думала, только в новостройках». – «Здравствуйте! – Евдокия руками всплеснула. – У нас-то, во втором, балерины проживают. Тоже сами по себе».

«И тебя, – Ариадна радуется, – сразу узнал...» – «Звоню. Открывает. Здравствуй, говорит, Гликерия Егоровна. Вроде вчера расстались».

«Да-а, – Евдокия тянет, – уж в этом ты преуспела. Другой и через год не вспомнит. А этот, вишь, через сколько лет. Все ж таки дура ты была – графа дожидалась. Надо было за Соломона идти: видный, самостоятельный. Доктор опять же...» – «Сердцу-то, – глядит, – не прикажешь». – «Вот я и говорю – дура».

«Ой, – Ариадна вспомнила, – чай ведь мы забыли. Тонечка сама не напомнит. А Софья где?»

«Так, – Гликерия отвечает, – с матерью сидит. Второй день не отходит. Чует, видно...»

«Ну всем ты, – Евдокия говорит, – взяла... Одно горе: отпевать мастерица. Соломон и тот-то не знает, а ты уж каркаешь. Будто за язык тебя тянут». – «Сказал же: печень». – «Мало ли – печень... Сходит, разузнает. Поговорит». – «Не прогнали бы», – опасается. «Да не-ет, – Гликерия ее утешает. – Врач врача не погонит – уважительные со своими».

– Ну, – бабушка Гликерия спрашивает, – все сидишь? Дала бы отдохнуть матери.

– Пусть, – мама рукой шевелит. – Наотдыхалась в больнице. Хлеб-то купили, – спрашивает, – и молоко?

– Не в блокаду, – чашку поставила, марлечкой сверху прикрыла, – булочка еще есть. Голодными, бог даст, не останемся.

– Все-таки, – шепчет, – надо бы сходить. На ужин-то... А я, – жалуется, – заводских стараюсь представить – не выходит. Одна больница на памяти. Проснусь и не знаю: где я?..

– Не привыкла еще. Евдокия вон тоже жалуется: никак к твоей комнате не привыкнет.

– Так зря вы меня сюда. И там бы полежала.

– Вот поправишься, – бабушка Гликерия утешает, – обратно перейдешь. С телевизором и болеть веселее... Ты уж, – ко мне поворачивается, – не беспокой мать.

Мама поглядела:

– Умница она. Знай картинки свои рисует.

– Вот и хорошо, – по головке погладила, – вот и рисуй.

В середине – комната. Мама на кроватке лежит. Бабушки шептались: всё у нее отрезали. Как же – всё? Вон и ручки у нее остались, и ножки. Чашку взяла, водичку пьет. Снова перепутали. Ничего не знают...

В углу – телевизор. В телевизоре дядька. Это у него все отрезали. Одна голова и осталась. А он и рад: зачем, говорит, мне туловище? Голова-то одна – лучше. И мыться не надо...»

А сверху – облачко. Отец на облаке сидит, на нас поглядывает. Мама на него смотрит, а дядька мертвый сердится. «На меня, – зовет, – смотри...»

Мама картинку взяла. «Вот, – говорит, – молодец, хорошо нарисовала. А наверху-то кто же это? Сосед, что ли, наш, Петр Матвеич?»

Нет, головой качаю. А мама глазки закрыла – не хочет глядеть...

* * *

Соломон передохнул, чаю напился. «Плохо дело. Запущенный процесс. Ученик мой в больнице работает. Он операцию делал. Что могли, сказал, вырезали. Но печень затронута. В общем – дело времени. Приготовиться надо». Платок достал – вытер лоб.

Евдокия замерла прямо. «А печень если отрезать?» – «Нельзя, – Соломон Захарович объясняет, – непарный орган. Почку, – говорит, – или легкое – и то гарантии нету. А печень нельзя».

Гликерия как стояла, столбом застыла. «Что ж это?..» – шепчет.

Руками развел.

Ариадна первая справилась: «Родных ведь у нее никого. И ребенок маленький. Мы-то хоть вырастили, а чужие...» Гликерия как всхлипнет. «Цыц, – Евдокия шикнула, – слезы-то после лить. И сколько же у ней времени?» – «Трудно сказать, – задумался. – Возможно, полгода, а может быть, и меньше. Тут ведь не угадаешь». – «К Успению, значит, отмучается», – рот щепоткой прикрыла.

«С ребенком-то что будет?» – Ариадна на своем стоит.

«Попытайтесь, – советует, – опеку оформить. Документы необходимые соберите. Во-первых, в ЖАКТ надо сходить. Пусть напишут, что вы ее с самого детства растили». Голос слабенький, одышливый. Говорит и сам не верит.

Евдокия послушала. «И что ж, – усмехается, – неужто дадут по бумагам? Отнять задумают – им бумаги не указ». – «Попытаемся, – Ариадна спешит, – конечно, сходим, попробуем. По вашему совету».

Евдокия глянула – махнула рукой.

«А муж ее где? – Соломон лоб наморщил. – Отец ребенка. Пусть бы взял на себя, хотя бы формально». – «Как это?» – Гликерия переспрашивает. «Ну, – объясняет, – по документам. А так жила бы с вами. С него алименты только». – «Нету, – Евдокия губу скривила, – алиментов. Без отца ро?стим».

«Плохо, – Соломон Захарович хмурится. – Значит, потеря кормильца. Мало того что в детдом отправят, и комнату отберут. Вдвоем с матерью прописаны?»

Вдвоем, кивают, вдвоем.

«Несовершеннолетним комнат не полагается. Комиссию соберут – решать».

Евдокия как услышала – серая стала. «Если, – говорит, – по закону,

тогда все – конец».

Гликерия в глаза ему заглядывает: «Ты уж, – ладошки сложила, – Соломон Захарыч, помоги – не брось». – «Да чем же я могу... – сморщился. – Пока работал, связи хоть какието были: у меня ведь *жены* наблюдались», – пальцем в потолок тычет. – «А ученики, – Гликерия подсказывает, – сколько обучил...» – «Мало надежды, – усмехнулся. – Раньше – другое дело. А теперь совсем слабая надежда».

«Ей-то, – Гликерия вперед страдает, – как скажем? Или уж молчать?..» – «Обычно, – задумался, – скрывают. Но ваш случай – особый. Может, вспомнит, как отца найти или родных... Мало ли, в деревне кто-нибудь остался. Братья или сестры... Поговорите, – советует, – узнайте деликатно».

Телефон на бумажке оставил – ушел. Гликерия до дверей проводила. «Ишь, – бумажку разворачивает, шепчет, – мало что отдельная, так еще с телефоном...»

Евдокия сидит – за голову обеими руками взялась. «Нет. Пока молчать будем – нечего прежде времени в землю вгонять. Тебя-то в особенности касается. Ты у нас мастерица болтать – что к носу придет. День наступит – скажем. Или сама догадается, когда боли начнутся». – «Да я, – Гликерия страдает, – разве ж...»

«А нам, – Евдокия не слушает, – за дело пора браться. Ты, Ариадна, в контору сходишь. Меня-то на дух они не терпят. Сколько с ними собачилась... А ты у нас образованная, культурная. Вот и пригодится. Поговори с ними по-хорошему. На всех не дадут – пусть на тебя хоть выпишут. Не крестная, а тоже – в ответе». – «Господи, – Ариадна растерялась, – им-то что до это?.. Ты думаешь, надо сказать?»

«Им, – Евдокия учит, – не надо. Не для них говорю – для тебя. Со справкой и вправду сподручнее. Вдруг и в комиссии не звери: прислушаются. Только лишнего, – остерегает, – не ляпни. А то находит на тебя. Как ляпнешь глупость... Иной раз думаю, блаженная... А с Антониной я сама уж поговорю. Про отца разузнать попытаюсь, про этого кобелину. Мало ли, след его объявится. Захарыча-то нашли...»

«Тоже через адресный?..» – Гликерия снова надеется. Евдокия задумалась – покачала головой.

Сходила. Назад возвращается. «Ну?» – Евдокия приступает.

«Ох, не могу, – стонет. У самой губы трясутся. – Что за люди, что за люди...» – «Это, – окорачивает, – ты брось. Охи да ахи свои. Не в гимназиях. Ты дело говори».

Водички попила.

«Прихожу, а там очередь. К начальнице все сидят. Я тоже заняла. Захожу, а она на меня и не смотрит. Как сквозь стену. “Справки, – говорит, – не ко мне”. Дело у нас, объясняю, особенное, деликатное. Сюзанну Беспалову мы растили – бумагу бы об этом получить. “А это, – прищурилась, – зачем? Растили и растили – небось, не за так. Вон мать-то ее который год на вас батрачит – живете, как баре. Я уж, – говорит, – давно к вам присматриваюсь, и сигналы к нам идут. Развели, понимаешь, эксплуатацию. Прямо царский режим. А теперь вон чего – справку им...”»

«А ты?» – Гликерия замирает.

«А что я? Про болезнь-то не скажешь. А она: “Во-он оно! Прописать, небось, задумали, комнату ей оставить. Не выйдет по-вашему. Ни со

справкой, ни без справки. Комнаты у нас государственные. Распределяют их по закону. – В книгу конторскую полезла. – У Беспаловых на двоих девять пятьдесят. А ваша, – тычет, – все девятнадцать. И обмен надумаете, тоже не пропишут. По причине ухудшения условий”. Но у них-то, возражаю, улучшатся».

«Вот-вот, – Евдокия кивает, – этого и боятся. Ну а ты?»

«Нам, говорю, недолго осталось. “Вот, – отвечает, – и помирайте на здоровье. А Беспаловы пусть в очередь становятся. Если их еще поставят. Очередь, к вашему сведению, по четыре с половиной метра. А у них по четыре семьдесят пять – выходит, излишки”. К двери пошла, а она мне в спину: “Ушлые какие! Одной ногой в могиле, а все ловчат”».

«А ты?» – «Ну что я... – мучается. – Молчу».

«А и зря... – Евдокия глазом сверкнула. – Вот и сказала бы. Спасибо, мол, дескать, за заботу. Хорошо-о живут Беспаловы. И правда излишки. На том-то свете по два метра выделено, а у вас не в пример – аж по четыре с половиной... Так, – итог подводит. – Значит, барыни. Ну, графиня, – к Гликерии обращается, – гулять собирайся. Молока по дороге ку?пите и пшенички. Кашу сварю на вечер. Антонина проснется – может, тоже поест».

До Никольского дошли – бабушка Гликерия заглядывает:

– Подсохло вроде все. Вон дорожки какие чистенькие. Пойдем, голубка моя, походим. Газоны-то, поди, грязные, а травка уж свежая – то-оненькая... Стелется, будто дымок по земле...

– Ты, – учит, – по грязи не шлепай. Шаг сделаешь – вмиг вступишь. Под снегом-то все спряталось: и какашки собачьи, и гнилье. Вот они и думают, будто грязь в землю ушла. А земля тугая, мерзлая – ихней грязи не принимает. Тебе, – вокруг себя оглядывается, – всего запомнить надо, пока время у нас есть. Дом наш – вон где. А тут собор. Сколько лет ходили, должна уж помнить. Если что, колокольня высокая. Ее отовсюду видно. По ней и равняйся. А из-за канала выйдешь – там другое: через мостик надо идти, мимо львов. Львы-то каменные – что им сделается? А людей, – пальцем грозит, – не спрашивай. Мало ли... Запутают, заведут. Я, – утешает, – буковки твои вышью. Так что на себя надейся – по памяти ступай.

Оглянулась: где ж она их вышьет? На домах, что ли? На домах рисовать можно, а еще лучше – на дорожках. Прутик взяла: буквы большие, кособокие – криво стоят.

Бабушка Гликерия поглядела. Правильно, кивает, умница. Пиши, запоминай...

А сама слезки вытерла и говорит:

– Завтра гулять пойдем – в другую сторону обернемся. С Офицерской надо приноровиться. *Эти-то* чего подумают: дескать, маленькая еще, неграмотная. Пусть идет, все равно не помнит. А ты, знай, молчи. «Правда, – кивни. – Это я так, мол, гуляю. Похожу и к вам вернусь». А сама помни: с какой стороны ни зашла, все тебе известное. И собор, и театр этот, и мостик...

А-а... Догадалась. Это проснусь когда... Сто лет пройдет – домой и пойду. А эти в подвале сидят. Выглядывают, караулят. Другие дети тоже

идут, буковки свои собирают. А они когти-то навострили, грозятся съесть...

* * *

Бабушка Евдокия в комнату заходит:

– Чего это ты рисуешь, Красную Шапочку? По городу, что ли, бродит? А это кто ж у тебя? Серый Волк? – Погляделапоглядела. – Не пойму, – говорит, – никак. Цветочки какието нескладные – на буквы похожи. Что ж они, буквы твои, из земли растут?..

А бабушка Гликерия в уголок спряталась. Платьице мое разложила, вышивает. Тут бабушка Евдокия ее заметила. Подошла, под руку заглянула:

– А ну, – зовет, – выйдем-ка.

Бабушка Гликерия напугалась, за ней пошла...

«Стало быть, – напротив встала, – вот ты чего задумала... Вышьешь буквы, и пусть себе уводят. Не будет этого. Так и знай, не будет». – «Может, – Гликерия просит, – на всякий бы случай...»

«На какой такой случай? В казенное переоденут. Свое-то сожгут». – «Как же?» – Руки сложила, к горлу прижимает. Евдокия всхлипнула, к плите отвернулась. Не ушло б молоко...

Ариадна заходит – к столу садится. «Где б узнать, там передачи принимают или это тоже запрещено?» – «Бывает, – Евдокия сгорбилась, – примут». – «А повидаться?» – «А уж это на ихнее усмотрение. От всякого зависит, от поведения...» – «Так она ж, – Гликерия торопится, – послушная девочка. Хорошо себя ведет».

Дверь прикрыла.

«Я вот чего, – шепчет. – Больно старые мы. Как уводить станут, сердце и не выдержит. Нам-то хорошо... А ей здесь остаться. Вот если б, – на дверь оглянулась, – и ее – с собой...»

Ариадна глядит – глаза остановились: «Как это – с собой?»

«Свят, свят, свят, – Гликерия и сама напугалась. – Прости душу грешную, оборони Господь, не знаю, что и несу...» – «Это, – Евдокия к крану пошла, воду включила, – я уж прикидывала: лекарство какое... Вот бы и...»

Вода шумит, бьется. «В войну, – Гликерия шепчет, – начальник этот у Гитлера, как же его? Так жена всех потравила, лишь бы в руки ихние не попались – пятеро было или шестеро...»

«Да очнитесь! – Ариадна крикнула тоненько. – Зверям уподобляться?!»

«Ох, – Евдокия встала, закрыла воду. – И не знаешь, где люди, где звери. Будто в лесу живем. Грехи наши тяжкие... Мысли ползут – незнамо откуда...»

«Антонина получше сегодня... – Гликерия чашки собирает – уводит разговор. – Кашки съела, пару ложечек. – А голос-то дрожит. – До туалета сама дошла. Может, вкусненького ей купить – рыбки или сыру? Вчера вон шоколаду запросила. Хочу, мол...» – «Деньги-то, – Евдокия нахмурилась, – кончаются. Пенсию принесут – тогда уж...»

«Я вот... – Гликерия думает. – По больничному авансто дают? Может, сходить к ним?» – «На нас, – Ариадна прикидывает, – в любом случае не выпишут. Там все по документам». – «А чего... – Евдокия Гликерию поддерживает. – Жених-то за матерь меня принял. Вот и явлюсь, будто

мать. Рублей хоть тридцать, хоть сорок». – «Далеко-о... – Ариадна сомневается, – да и найдешь ли?» – «Что ж я, – обиделась, – дура какая... Антонину расспрошу»...

Ужинать собрались, Соломон Захарыч как раз, прямо к столу. Гликерия обрадовалась, приглашает. «Да я, – дышит тяжело, – на минуточку». Стоит, шапку мнет.

В кухню провели.

«С опекой – безнадежное дело...»

Ариадна к Софьюшке оборачивается – зовет по-французски. «Мы, – говорит, – потом поужинаем. Нам не к спеху».

Соломон сел – сгорбился. «Ученик мой бывший с делами с этими связан. Без отца ничего не сделать. Так и сказал: безнадежно. Либо бабке родной, либо отчиму. Да и тут свои сложности: заявление, характеристика с места работы...»

«Ну что ж, – Евдокия в окно черное смотрит, – и на том спасибо. Закон ихний на то и писан, чтобы им сподручнее. Нас не спрашивали, когда законы свои писали»...

Встал. Пошел. Гликерия вслед глядит: совсем старый стал. И идет еле-еле. А раньше-то как бегал... С самого утра по этажам. То обход у него, то студенты обступят...

Софьюшка в прихожую выбежала – картинка в руке. «Покажи-ка, – Соломон Захарович просит, – что это ты рисуешь?» Не сробела – протягивает. «Вот молодец! – залюбовался. – Хорошо получается! Тебе учиться надо. Кружок, – объясняет, – есть. Художественный. Во Дворце пионеров. Внук мой ходил-ходил, да ничему не выучился. А, – рукой машет, – видно, способностей нет».– «Наша-то, – Гликерия подхватывает, – способная. Чуть минутка свободная – рисует. И где же, – спрашивает, – дворец этот пионерский?» – «На Фонтанке. У Аничкова моста. Отсюда далековато, конечно...» – «Ничего, – радуется, – втроем бы управились... По очереди...»

Евдокия как зыркнет. Сникла...

Ушел Соломон.

«Давайте, – Евдокия зовет, – собирайтесь с силами. Ты, Ариадна, ребенка покормишь, а я уложу. Антонину помыть еще. Сколько дней не мывши. Как бы до пролежней не долежалась. Спину – камфарным спиртом протрем, кровать ей перестелим: пусть уж на чистом...»

Гликерия говорит: «Тряпки прокипятить, а то уж кончились. Кровит больно – и не напасешься»...

* * *

Бабушка Евдокия одеяло подоткнула, рядышком села. Платок с головы сняла – пригладить волосы. – Ты, – говорит, – случись чего, дак имя свое помни. Не это – Сюзанна. Это для людей. А для Бога имя тебе – София. Она и заступница небесная. Дева белоснежная, Божья слава. Самая премудрая – мудрее и нет на свете. Бог ей шепнет, а она добрым людям пересказывает. Все передаст – до словечка. А те, кто не слушают, одно уныние в них да глупость. А Софья и не глядит на них: знай себе вокруг смотрит. Наглядится за день, а к вечеру сядет, краски с карандашами возьмет – все как есть нарисует. И леса зеленые, и моря

синие, и города разноцветные. Одно слово, художница... Ты вот чего, – склонилась, на ухо шепчет. – Слушай-ка меня. Мало ли, увезут тебя... В жизни-то разное бывает. Случается, увозят детей. Запрут, и нас не допустить могут. Одной тебе придется. Вот и знай: куда б ни замкнули – я с тобой. Всякий день за оградой. Так и буду ходить, пока Господь жизни даст. Может, и не видно меня, а ты все одно помни – там, мол, моя бабушка. Взад-вперед ходит. Сядет, передохнет – и опять идет. Поняла?

Поняла, киваю. Это – когда спать буду. А потом проснусь.

V Евдокия

Зою ихнюю сразу признала: статная, самостоятельная. На проходную вышла – без нее не пустили.

В пропуск заглядывает: «Здравствуйте, Евдокия Тимофеевна. Давно хотела встретиться с вами, поговорить». – «О чем же, – удивляюсь, – со мной разговаривать, с неграмотной-то старухой? Вон хозяйство у вас огромное – поди, успевай!» – «Ну и что, – говорит, – неграмотная? В прежние времена грамоте не больно учили. Только мудрость не одними книжками дается». – «Уж это верно, – поддакиваю. – Жизнь-то по-своему научит...»

А сама думаю: и чего хвостом метет?

«Мне бы, – прошу, – деньги получить, аванс за Антонину... Пенсия у меня маленькая, а ребенку то одно, то другое». – «Да что ж, – рукой машет. – Сама бабушка – двое у меня». – «Надо ж, – изумляюсь притворно, – а сами из себя моложавые. По вас и не скажешь...»

«Вы за аванс не тревожьтесь. Бухгалтерия не выпишет, так из месткомовских оформлю. Проведем как материальную помощь. Тут одно только... Операции эти не больно приветствуют... Да я уж, – обещает, – потолкую с женщинами, объясню».

«Спасибо», – поклонилась.

А сама диву даюсь: чего на операции ополчились? Болезни, небось, не по своеволию.

«А как, – спрашивает, – Антонина себя чувствует? Долго у нее чего-то. Не было б осложнения...» – «Да по-всякому, – отвечаю, – чувствует. Когда ничего, а когда и хуже. Лежит в стену уткнувши». – «Да-а...– кивает. – Легко ли ребенка извести – своими руками...»

Какого еще ребенка, думаю... Батюшки! Тут только сообразила. Вон оно про какую операцию... Объяснить бы, думаю. Чего ж ей позор нести...

Уж и рот, было, раскрыла, а она и говорит: «Мы вашу Антонину меж собой не осуждаем. И вправду, не ко времени теперь. Вот поженятся, тогда уж. Молодые – родят еще. А Николай, – спрашивает, – навещает?»

«Да приходил, – поглядываю, – попили чаю». – «А в больницу?» – «Нет, – говорю. – В больнице не было. Туда не ходил».

«От, мужики! Напакостить – это они первые, а как отвечать – их и нету. Мы с Николаем, – объясняет, – отдельно разговаривали. Правда, не знали еще... А знали б, и вовсе не цацкались. Куда б он делся, паразит! А теперь мы вот как думаем: пусть промеж себя разберутся. Если примет решение, зачем нам коллективом вмешиваться... А ломаться вздумает, тут мы ему и пропишем.

Все-е припомним... Так что, – объявляет, – к свадьбе готовьтесь. А там

и новоселье, глядишь... Завод в стороне не останется – квартиру отдельную предоставит».

Слушаю, а у самой горло сжало – ни вздохнуть, ни охнуть. Свадьба-то наша в саване, а матерь – сыра земля...

А она мне улыбается. «Полно, – говорит, – плакать, когда жизнь только-только налаживается». Вот я со слезами справилась и говорю: «Разговор у меня к вам, Зоя Ивановна. Ох, разговор!» – «Про девочку, что ли», – спрашивает. – «Про нее, – киваю. – Про нее».

«Так я, – говорит, – и сама об этом хотела. Только с Антониной, – машет, – разве договоришься? Седьмой год ребенку, а все дома сидит. Детки в ее возрасте и песни поют, и сказки рассказывают. Младший мой, и пяти ему нету, а все про дедушку Ленина помнит. Рассказы им читают: и про героев, и про войну. А ваша – что? Потом-то уже и не восполнишь. Детская память цепкая. Что отложится, то уж на всю жизнь».

«Да мы, – отвечаю, – тоже ведь не сидим сложа руки. Книжки ей читаем. Сказки». – «Ну, одно дело – самим. А там методисты. Их ведь специально обучают. Семь лет-то эти самые решающие. Что заложим, то и будет. А при заводе у нас и садик имеется, и лагерь...»

«И лагерь, значит?» – переспрашиваю.

А сама думаю: ох, и дура ты, Евдокия. И язык твой поганый – нашла, где рот разевать... Это ж приноравливаются они... А про болезнь узнают – вовсе не отобьешься...

Перекрестилась мысленно и говорю: «Правда ваша, Зоя Ивановна. Где уж нам уму-разуму выучить... Поговорю с Антониной, только пусть уж поправится сперва. Женщина она рассудительная: к хорошему всегда прислушивается. К доброму делу чего ж не склониться?..»

Тут она обрадовалась, под локоть меня подхватывает. «Пойдемте, – зовет, – в бухгалтерию – с деньгами все оформим. Главное-то, – радуется, – решили. Ну, где ее справка?»

«Да дома, – напугалась, – оставила. Не сообразила както». – «Ну ладно, – соглашается. – Тогда другой раз выпишем. А сейчас из месткомовских выделю. К завтрашнему дню и оформлю».

Назад иду, а глазам черно. И не помню, как добрела до дома. Полежала, в кухню выхожу. Все как есть рассказала: про операцию, и про лагерь с детсадом, и про этого... Жениха. «Так что, – заключаю, – надеяться не на что. Теперь уж только на чудо. Вот и молитесь, – говорю. – К мне Господь не прислушивается. Может, хоть к вам снизойдет».

«Так я, – Гликерия оправдывается, – уж и так всякую ночь...»

Ариадна с места встала. Сама белая: «Вот же оно – чудо. Господь сам нам указывает...»

Глянула на нее: «Чего, блаженная, городишь! Совсем умом повредилась? Язык твой без костей».

«Николая-то чем пугали? Не женится – никогда комнату не получит. Они ведь что думают: от ребенка она избавилась. А про болезнь и не знают...»

«Ну?» – Гликерия стоит, моргает.

«Так выхода ж у него другого нету, если хочет комнату получить. Одна ему дорога – на Антонине жениться. А как женится...»

«Так, – кулаки сжала. – Дальше-то понятно. Давай-ка другое думай. А упрется? Не знаю, мол, откуда ребенок...»

«А мы, – Гликерия туда же, – свидетели. Приходил, мол. Оставался на цельную ночь».

Подумала-подумала.

«Нет, – говорю. – Не выйдет у нас. Как глянет на нее – догадается. Она ведь какая стала... Краше в гроб кладут».

«Так пусть себе и догадывается, – Гликерия ободрилась, на Ариадну глядит. – Ему же и лучше». – «Правильно, – Ариадна кивает. – Тем более ему выгодно. Умрет – целиком комната достанется». – «Как это, – изумляюсь. – А Софья? Она-то, слава богу, прописанная». – «Ну какая разница? Жить-то ведь с нами будет. Не с ним».

«Ох, – решиться не могу, – а докопаются? Операциято – другая?» – «А мы, – Гликерия и тут не растерялась, – справку им не покажем». – «А деньги? Ни копейки без справки не выпишут». – «Ну что ж, – Ариадна спину выпрямила, – значит, как-нибудь без денег»...

Евдокия в окошко перекрестилась.

– Чудо, говоришь?.. Да-а, умная ты... Видать, не зря учили в гимназиях. Я бы не дошла...

– И правда, – Гликерия шепчет, – чудо лицезреем...Сподобил Господь перед смертью.

Ариадна голову опустила, печалится.

– Обманывать придется... Грех на душу берем.

– А нам, – Евдокия отвечает, – выбирать не из чего. Какое чудо дадено – на том и спасибо. Почитай, соломинка протянутая. Наше дело – хвататься. Лишь бы вышло у нас. Хоть эту спасти... А грех – пусть на меня ляжет. Так и так душа погублена. Детьми моими.

* * *

Глаза открыла. Темно вокруг. Не поймешь: не то ночь, не то вечер... Все во мне перепуталось. И не различаю.

Евдокия заглядывает. «Не спишь?» – зовет. – «Тошно мне, Евдокия Тимофевна». – «Ох... – Одеяло сдвинула. – На все Божий промысел. И на тоску, и на печаль...»

На краешек села. «Разговор у меня к тебе. Уж и не знаю, с чего начать».

«Да разве ж, – говорю, – не понимаю... Трудно вам одним. И постирать, и сготовить, и по магазинам. Я уж подняться стараюсь, да слабая. Прямо все ходуном. Вы уж, – прошу, – потерпите маленько».

А она глаза вытерла и отвечает: «Бог с тобой... Кто ж тебя попрекает? Я о другом. В жизни ведь всяко может быть... Взять операции эти... Хорошо, если удачно, а случись чего, дочерь-то твоя – одна. Ни бабки родной, ни хоть отчима – перед законом...» – «Что-то не пойму», – отвечаю. «Так, – в пол смотрит, – замуж бы тебе. Вот хоть за этого, за Николая. И Зоя твоя советует. Говорит, квартиру дадут...»

«Хоро-ошая, – головой качаю, – из меня невеста... С тряпками этими подкладными. И смех и грех...» – «Я ей про дело, – рассердилась, – а она вона про что... Вторая Гликерия прямо... Господи, прости!»

«И когда ж, – голову к стене отворачиваю, – запланировали?» – «А чем скорей, тем лучше. Чего тянуть? Вон и Зоя твоя торопит». – «Да не о себе я. Николаю-то как объяснять? И не объяснишь, поди... Про немочи эти».

А сама думаю: на коленях перед ним ползала, молила о дочери... Как жить-то с этим будем, если оба помним.

«А уж это, – обещает, – на себя возьмем. Растолкуем как-нибудь. А нет – Соломона призовем: объяснит». – «Устала я. – В стену отвернулась. – Делайте, как знаете»...

Евдокия из комнаты вышла – дверь за собой притворила. Другие на кухне ждут.

– Ну как? – Ариадна замирает. – Поговорила?

– Поговорила. Только сил моих нету, чтобы всю правду ей раскрыть. Язык не повернулся. Только и сумела, что про эту женитьбу.

– А она?

– Согласная вроде.

– Ну, – Гликерия вздыхает, – и слава богу. И пусть поболеет в спокое... Шоколаду-то снова не купили. Ох, просила...

– Да какой, – Евдокия изворачивается, – больным шоколад... Кашу едва принимает. И Соломон не велел.

– Когда это? – Ариадна удивляется. – Что-то я не припомню такого...

– А как же? Сам сказал: диетическое питание.

– Ну так, – Гликерия говорит, – вон он и есть – шоколад.

– Дава-ай! – руки в боки уперла. – Вали-и на него как на мертвого. И тут Соломон, и там Соломон – яко ангел вездесущий. Без Соломона шагу не ступишь. Так и кланяешься в его сторону...

– Шоколад, – Гликерия на Ариадну поглядывает, – и сил прибавляет. Вон в войну-то – американцы... Плитки толстые, хрусткие...

– Все-е, – рукой отмахнулась, – теперь-то не собьешь тебя... Не про мужиков, так про еду хоть порадоваться... А шоколад этот – от бесов.

– Да какие бесы! Шоколад-то и в пост можно...

– А это, – отвечает, – тем, у кого что ни день, то мясо. А другим, вроде нас, и рыба – разговение.

– Болящим, – Ариадна выступает, – ни мяса, ни рыбы не возбраняется.

– Тьфу, – с места встала. – Христос-то и от хлебов отрекся... А! Делайте по-своему. Хоть все зараз спустите – и зубы на полку.

– Святые, – Ариадна говорит, – о дне завтрашнем не помышляли. Будет день, будет и пища.

– Ага, – головой крутит. – Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Святые-то на пенсии наши не жили. Вон им – то хлеба подарят, то золотой поднесут...

– Все, – Ариадна встала. – Сил моих нет безумные речи слушать. Ждите. Сейчас я.

Принесла. На стол положила. Евдокия коробочку раскрыла.

– Ох, – прямо выдохнула, – вон она – красота... Это сколько ж, например, стоить может?..

– Камни хорошие, чистые. На свадьбу мне подарены – отец сам выбирал. На старые деньги, может быть, и две тысячи...

– Ну так уж?..

– Отец, – Ариадна обижается, – во всем знал толк. Серьги эти заранее заказывал. Старинные. Гордился: царский подарок...

Евдокия на камни любуется.

– От ведь! Пожила-а ты в родительском-то доме. То в заграницу направят, то серьги алмазные поднесут. Другие-то гроши ломаные считали... А мы, – коробочку бархатную прикрыла, – у Соломона спросим. Должо?н знать. Еврей.

– Да откуда?..– Гликерия за него заступается. – Всю ведь жизнь по больницам.

– Ну, – Евдокия смягчилась, – пусть советчика найдет. Нас-то, ежели что, облапошат.

VI Отчим

Зойка, сучка драная, пристала: сходи да сходи. «И художества, – грозит, – свои брось!» Послать бы куда подальше, думаю, к богу в рай... А потом и соображаю: Зоя-то возле начальства крутится. Мирным путем надо. «Ладно, – вежливо говорю, – схожу». – «А пойдешь, – как банный лист липнет, – так не с пустыми руками. Гостинец хоть купи».

В цех вернулся, а самому тошно. Как вспомню ее, как в ногах у меня ползала, прямо хоть в петлю. Что ж я, думаю, сделал с нею, до чего довел?.. Может, и не бегала она. Бабы и сами ушлые, дознались. И гостинец еще этот... Вот чего нести? Мужику так взял бы бутылку, а бабе? Сладкого взять, что ли, пирожных каких-нибудь...

К Василию решил подойти. Он у нас мужик бывалый, опытный – трое детей.

«К Антонине, – щурится, – собрался? Долго собираешься... Четвертая неделя пошла».

Ишь, думаю, и этот недели считает...

«Сучок ведь, – говорит, – ты, Колька. Баба через тебя под нож легла, а ты – гости-инец...» – «Да чего, – злюсь, – через меня-то? Я, – говорю, – и ни при чем». – «Тьфу, – в пол плюнул. – Вон дочери у меня подрастают. Как подумаю про вас, кобелей, – так бы всех и удавил».

Мужики стоят – прислушиваются.

«Всех, – смеются, – не передавишь: уж кого-нибудь да оставь – на племя... Это, – говорят, – ты потому яришься, что сам-то девок настрогал. А сыновья бы, так по-другому ведь запел бы. Сам бы, небось, на блядки ходить учил...»

Болванку тащу и думаю: не было ж у нас. Ну, сам-то соображаю, скажу я им, положим. Дескать, ничего у нас и не было. Так и вовсе на смех подымут. Хоть бы девка была, а то – баба. Бабу, скажут, не уломал. Ладно. Я свою правду знаю. Пусть чего хотят плетут.

Смену отработал – снова Зоя прется. «Сегодня, – говорит, – не ходи. Завтра пойдешь. Заодно и двадцать рублей доставишь, материальную помощь. Только, – пальцем грозит, – гляди у меня, не пропей».

«Так я, – отвечаю, – непьющий. Разве по праздникам». «Знаем! – отмахнулась. – Жене своей будешь рассказывать. А я уж ученая... Вам волю дай... Во, – кулак вперед выставила, – где вас держать».

В общежитие к себе вернулся, а Серега, сосед, приглашает:

«Зинка, – мигает, – тобой интересуется?» – «Какая Зинка?» – «Так Шурки моей товарка. С тарного цеха». – «Ейто, – спрашиваю, – чего?»

«Да, – смеется, – мужик ты теперь знаменитый: на весь завод прославился. Помяни мое слово: девки-то, ох, налетят как мухи». – «Мухи, – прямо зло меня взяло, – известно на что налетают». – «Вот, – снова мигает, – я и говорю...»

«А ну, – за грудки его схватил, – повтори, сволочь!»

«Дурак, – отпихивается. – Я ему бабу подкладываю, а он же на меня и

с кулаками. Можно сказать, сватаю». – «Надо будет, – остыл, – сам просватаюсь». – «Ага, – отряхается. – То сидел как рак под корягой, а то уж так просватался – по заводу звенит...» – «Чего это звенит? Сами, небось, и звените». – «И ребеночка сами настрогали. А ты – сторона...» – «Это откуда ж – ребеночка?» – «А чего? – удивляется. – Военная тайна? Так все уже знают».

Ни хрена себе, думаю... Все у них знают – кроме меня.

«Так а чего? – К зеркалу оборачивается. – Может, ветром надуло? Либо, – смеется, – непорочным образом? Лекторто, помнишь, рассказывал... Бывают примеры. – С расчески сдунул – пихнул в карман. – Ну, идешь?»

Лежу. На койке вытянулся.

«Ну и черт с тобой, раз святой дух».

Куда ж это я влип, соображаю? Не-ет... Идти мне надо. Разбираться. Пусть сама объяснит.

Посидел, а сам-то и думаю: и чего она мне объяснит? На хахаля своего укажет? Так ей, небось, невыгодно. На меня спихнуть намерилась. Тут и Зоя за нее горой – повесят на шею... А потом думаю: кого вешать-то? Избавилась же она...

Посидел-посидел. В мозгах и просветлело.

Это же она специально подстроила, чтоб на себе женить. Первый раз не вышло – теперь поумнела. Дескать, вот оно – доказательство. А я-то, дурак: болезнь, говорю, придумай. А ей и думать не надо – давно придумано.

Ну ничего! Кулаком погрозил. Попомнят они меня... И Антонина, и мамаша ее. Старухи, небось, и надоумили. Ох, попомнят!..

Сижу, злобу коплю. Серега обратно влетает.

«Сидишь, – говорит, – ешкин кот! А я, главное дело, бутылку забыл. Вчера еще приготовил – в кино-то идти. Ну, – из-под матраса тащит, – может, передумал?» – «Передумал, – решаю. – Пошли».

«Вот-вот, – кивает, – проветрись. Пока напрочь не захомутали». – «А это уж поглядим... Хомутальщики еще выискались! Самим бы им не запутаться – в вожжах...»

В кино пришли, Серега в бок меня толкает. «Последний ряд, – говорит, – взял. Не было, – мигает, – других».

А девки хихикают, будто щекочет их кто. Рассаживаться стали, а Зинка прямо так и протиснулась – рядом села. Кино началось, ко мне придвигается. Руку мою – хвать! – к себе на коленку.

Пощупал-пощупал, а – не чувствую. Прям холодом несет. Будто и не нога, а болванка какая-то... Это что ж такое, думаю? Порчу, что ли, наслали – чертовы ведьмы...

Из кино выходим. Зинка мордой крутит. Серега говорит: «Допить бы надо. Или уж, – Шурке своей подмигивает, – дома допьем?»

Вот они сговариваться стали, чтоб на женскую половчее проникнуть. Лестница там пожарная. Девки через дверь войдут, раскроют окно.

Послушал-послушал. «Сами, – отказываюсь, – пейте. А я домой пойду». Слышу: вслед мне смеются. А Зинка – так громче всех...

Ничего, себя успокаиваю. Ротный наш как говорил? Главное, не впадать в панику. Приду, в глаза ей гляну – совестьто должна пробудиться. Признается, небось...

Открывают. Мамаша ее на пороге. А имени не помню. Все из головы вылетело. Кивнула.

Комната большая, мебелью заставленная. Абажур над столом.

«Я, – в карман полез, – помощь вам принес. Зоя Ивановна прислала».

Руку протянула – спрятала под фартук. Другие – будто каменные сидят. И я сижу, а как приступить, не знаю. Шелто, как думал: Антонина сама откроет.

«Мне б, – говорю, – с Антониной повидаться... Как там? Поправляется она?» Мамаша глазом ведет. «Нет, – отвечает. – Помирает».

Ну, думаю, все: из ума выжили старухи. Ишь, помирает у них...

«И жить ей осталось с полгода. А может, и меньше. Только не знает – надеется еще».

Имя со страху вспомнил. «Да не убивайтесь, Евдокия Тимофевна. Поболеет и выздоровеет. Люди-то болеют». – «Люди, – отвечает, – болеют. А рак – не болезнь, а смерть».

Какая такая смерть? Откуда взялась?..

«Если б, – говорит, – не ребенок... А так сиротой останется. Так что жениться ты должен, чтобы ребенка спасти».

Слушаю, а не понимаю. Будто ватой все заложено. Как это – ребенок? Неужто не избавилась? И рак, значит, и ребенок?..

«Ребенок этот, – объясняю, – не мой. Я бы, если что, не отрекся. Вы к подлинному отцу обратитесь. Пусть он и женится». – «Умер отец. Не призовешь с того света. Так что тебе придется – иного выхода нет. А ты, – утешает, – не шибко сокрушайся. Документы оформишь, а ребенка мы сами обиходим. При нас будет жить. А тебя в комнату их пропишут. Помрет, один поселишься. По-другому-то, – глянула, – никак».

«Так, – время тяну, – подумать бы надо... Не решать с кондачка...» А в голове одно: бежать отсюда. Ишь, уставились. Глядят...

Тут она с места встала: «Думай. – В шифоньере порылась, достает. – Мы-то помрем, тебе достанутся». Коробочку раскрыла, под нос мне сунула. Поглядел – прямо в глазах брызги. А она – раз! – и захлопнула. «Не теперь. После нашей смерти»...

Не помню, как и выбрался. Выхожу, стал у фонаря. Так и есть, думаю, идолы деревянные... Петра вспомнил: там-то тоже старуха... Неужто и со мной повторяется? И золото это, и камни... Вот оно, едитская сила! Петр-то вон про что говорил...

К себе вернулся. Лег, одеяло на голову натянул. Серега чайник несет: «Продуло, что ли?» – «Тело, – буркаю, – ломит». И вправду крутит меня...

Вот иду, будто. А в руках смотровая. Только без выбора – бери что дают.

Подхожу, а дверь-то открыта. Вроде дожидаются меня. Комната большая, просторная, только без мебели. Всего и есть, что три сундука. Мамаша ее и обе другие – родственницы. Сидят, спицами шевелят. А по полу клубки набросаны. Шагу не ступишь.

Бумагу предъявил. «Где, – спрашиваю, – свободная?» – «Так вот же, – отвечают. – Вселяйся». На дверь мне указывают. «Как же, – удивляюсь, – вселяйся? Антонина ж там...» – «Переехала она , – утешают. – Считай, совсем переехала. Вон ее кофта».

Гляжу – кофта цельная, только без рукавов. И нитка оборванная вьется – до самого полу. «А как же, – спрашиваю, – ребенок?» – «А с

нами, – говорят, –проживает: вот и кофточка ее».

Значит, дочь у меня, думаю. Поглядел, а кофта эта пестрая, из разных ниток. «Что ж вы, – пеняю им, – вяжете? Как ей ходить в такой?» – «Так из остатков. – На пол указывают. – Вон их сколько оборванных... Так и будет ходить».

Огляделся, а клубков-то и нету. Нитки рваные, перепутанные. Весь пол ими устлан.

Бежать хочу, а будто силком тянет...

Крикнул. Глаза открыл. Темно.

Мужики по углам храпят. Серега, сосед, вскинулся: «Чего орешь?» Встал, к окну прошлепал – одни пустые бутылки. «А, – на другой бок поворачивается. – Допили вчера. Федька Костыль приходил».

Лег, а самому муторно. Дочь, значит, думаю, будет. Жалко, что не сын...

* * *

Евдокия на дверь оглядывается: «Ничего... Главное, сговорились. Правда, и побыл недолго. И она молчит... Слабая. Не знаю, как доедет. Самолично ведь потребуют, когда заявление подавать?» – «Это ничего, – Соломон Захарыч утешает. – Геннадий Павлович звонил им. Обещали, что пойдут навстречу. Пусть жених подъедет, оба паспорта сдаст».

«Ох, – Гликерия восхищается, – и как же у тебя ловко выходит! А уж мы-то как тебе благодарны...» – «Не вы. Это я вас должен благодарить». Сам сидит, сгорбился.

«Сколько лет прошло, а до сих пор снится. Жена покойная не снится, а тут... – Закашлял. – Глаза закрою, снова собрание перед глазами: лес рук. И голоса... Речи их обвинительные слышу». – «Большинство-то, – Гликерия сморщилась, – небось, по принуждению. Время нехорошее было».

Плечами пожал.

«Конечно, – Ариадна вступает. – Все же вас знали...» – «А что толку? – Дыхание перевел. – Да я ведь, в сущности, понимаю. И тогда понимал. А сам стою и думаю: это ж мои ученики... Неужели так никто и не встанет? Да не *против* , конечно, а хотя бы *воздержался* ... Так и не встал ни один. Я ведь как думал: так и умру с этим... А теперь, – дышит тяжко, – знаю: помнят меня».

Евдокия глянула: «Чайку горячего попейте. – Блюдце ополоснула. – Першит у вас». – «И погода, – Ариадна торопится, – плохая, неустойчивая. Где ж это видано, чтобы в это время – снег?» – «Так черемуха, – Гликерия подсказывает, – черемуха расцветает. Каждый год похолодание...» Ариадна в окошко поглядела: «Конечно, похолодание... Но ведь не снег...»

«Да... – Евдокия к окошку обернулась, на снежинки любуется. – И шарфик у вас, гляжу, внатруску». – «А я, – Гликерия обрадовалась, – к осени новый тебе свяжу».

С собой справился: «До осени дожить еще надо... Да, вот еще что... Геннадий, конечно, обещал. Все, что в его возможностях, сделает. Только советует, подумать вам надо. Николай молодой, рано или поздно женится...» – «А мы, – Евдокия брови вскинула, – на что?» – «Вот, – палец поднял. – В этом все дело. Пока живы, девочка на улице не останется. А дальше?.. Поговорил я с Николаем. Человек он неплохой, но слабый. Раньше говорили: без внутреннего стержня. Что жена скажет, то и

сделает... А детдомовским хоть комнаты выделяют. Плохонькие, но все-таки крыша над головой... Ей сколько? Ой-ой-ой! – Головой качает. – Нынешние дети – не мы. И в шестнадцать еще беспомощные... Я по внуку своему сужу. Двадцать шесть оболтусу, а случись что...»

«Ничего, – Евдокия глянула коротко, – у нас свой расчет... Бог даст, продержимся. Поживем».

«Ну, – встает. – Вам виднее. Так что звоните Геннадию Павловичу. Что возможно, все для вас сделает. Но главное... Николай вам не помощник. На себя рассчитывайте... Да-а, – головой качает, – запуга-али вы его... Он ведь как понял: беременная она. Какой, мол, говорит, ребенок? Ничего ж не было... Клялся...»

«Антонине, – Евдокия глаза опустила, – плохеет. Кушать совсем отказывается. Шоколад один сосет. Может, вредно ей?» – «Да нет. Пусть. Попить вот предлагайте почаще. Компот, что ли...» – «Так сварим, – Гликерия кивает. – Вон из сухофруктов. С прошлой осени остались». – «А боли начнутся, я договорюсь. Найдем медсестру. Только, – смутился, – платить ей придется. Не из поликлиники».

«Колоть-то, – Гликерия морщится, – опий?» – «Ну... В общем, наркотик». – «А много ли, – Евдокия насторожилась, – платить?» – «Не знаю... – руками развел. – Раньше пять рублей было, а теперь...» – «Может, – губами шевелит, – так бы осталось? По пятьдесят бы копеек?.. А из поликлиники если, тогда – бесплатно?»

«Из поликлиники бесплатно. Только лекарство могут не выписать. То есть выпишут, но не полный курс. А ей каждый день понадобится, а потом и по два раза». – «Господи, – Гликерия руками всплеснула, – неужели опия жалеют? Таким-то больным...»

Евдокия ее не слушает: «По рублю, значит?» В переднике порылась, вынула коробочку: «Вот. – Открыла. – Продать мы задумали. Серьги хорошие, старинные. Может, дочери вашей?..» Поглядел, руками развел. Откуда, мол, такие деньги.

«Так, – Евдокия не отступается, – хотя бы предло?жите кому. Нас-то, ежели что, обманут». Плечом пожал: «Попытаюсь...»

В руках повертел, спрятал в карман...

«А вас, – Гликерия приглашает, – Соломон Захарыч, на свадьбу – милости просим». – «Благодарю вас, – улыбнулся. – Если здоровье позволит... Да, – вспомнил, – как с датой определитесь, у Геннадия своя машина. Я ведь, – шапку надевает, – сказал ему, что вы мои родственники. Так что – породнились»...

– Соломон-то, – Евдокия рассуждает, – от умный мужик. Ишь, родственники мы...

– Так, – Гликерия губы поджала, – родство-то не только по крови.

– По крови, – Евдокия рассердилась, лицом темнеет, – только и есть – кровь... Не нами сказано: враги человека – домашние его.

– Это же совсем о другом говорится... – Ариадна ее поправляет. – *Кто не оставит отца или матери и вслед мене не идет...*

– Вот-вот! – палец воздела. – Мене, а не бесам...

Отвернулась, в окно глядит.

Чернота. Бесы одни вьются.

Небо низкое, серое. Хоть бы уж снег пошел...

– Ох, – вздохнула. – Страшно мне. Ведь прав Соломон. Глупость, видать, делаем. А Николай – это он теперь боится. А вселится, никому не

простит, не забудет: ни нам, ни Софье... Да где ж она? – вспомнила.

– А она, – Ариадна сидит гордая, – книгу читает.

– Сама, что ли? Вот умудрил Господь... Иные жизнь проживут, а все через пень колоду. А эта, видали-ка – сама...

Гликерия на Ариадну поглядывает.

– Самостоятельная. А в шестнадцать-то, ох, какая станет... И не догонишь...

– Дава-айте, – Евдокия обессилила. – Выдумывайте. Тешьте себя...

– Раньше-то, – Гликерия вспоминает, – в деревнях, и рака этого вроде не было. Никто и не слыхивал про него. Туберкулезом мучались, водянкой, зубы еще болели...

– От зубов, – Ариадна укоряет, – никто не умирал.

– Не скажи! – оживилась. – Вот в деревне у нас было...

– Так рак, – Евдокия не слушает, – это ж разве болезнь? Я когда еще думала: вот облучат, например. Вроде все одинаковое, а один – раз! – и поправился, а другому только хуже. Что ж это за болезнь такая, если от человека все зависит? Не от лекарств.

– Ну как же – не болезнь? То печень поражает, то легкие... То вот – матку...

– А коли и болезнь, так сами аспиды ее и придумали. Мало им других смертей...

– Ничего, – Гликерия тесто затворяет. – Ежели что, найдем на него управу... А вдруг, – руки об тряпочку обтерла, – и правда – добрый человек... Вон Соломону-то понравился. Добрый, говорит, да слабый.

– Навидалась я их, – Евдокия сковородку на огонь ставит, – и добрых, и слабых... Вон у сына моего. Друг все ходил. За столом с нами сиживал. Тоже добрый был, а случилось – отрезало будто. Я-то не поняла сперва. Ох, решила, и его забрали, значит. Сам-то детдомовский. Кто ж ему, думаю, снесет передачу? Ну, собрала, понесла...

– Неужели приняли? – Гликерия удивляется.

– А ты не перебивай, дослушай сперва. Время проходит, встречаю его. Идет по улице... Я-то как обрадовалась... Здравствуй, зову, Володя. А он как увидал меня, шарахнулся, будто крыса...

– Ну, – Ариадна не соглашается, – видно, и был такой. Добрый-то – всегда добрый. У брата моего тоже друг был. Вместе в полку служили. Только брат офицером, а Сергей – вольноопределяющимся. Голод начался, часто к нам заходил. У отца совсем ноги отказали. И я одна с сыном. Так Сергей нам помогал: то селедки принесет, то полешко. А у самого ведь семья. Правда, детей не было, не успел жениться. А у отца рубли золотые оставались. «Возьмите, – просит, – Сергей Николаевич...» А он только усмехнется: «Оставьте это!» Исчез в двадцать первом. Видно, дознались...

– Вольноопределяющих-то, – Евдокия хмурится, – вроде щадили.

– А он, – объясняет, – офицером стал к тому времени. Экзамен успел сдать на прапорщика...

Евдокия в комнату зашла. «Кто там? – спрашиваю. – Вроде в дверь звонили...» – «Да, соседка, Надежда Карповна. Гликерию на лестнице встретила. Гликерия у нас прямо радио... Все раззвонит. Вареньица тебе принесла. Пусть, говорит, Антонина покушает. Райские яблочки. Ей родственники послали, из Краснодара...» – «А где это?» – «Так на юге, должно... Я городов-то не больно знаю. Вон. – Блюдечко держит. –

Попробуй. Мы уж съели по одному».

Яблочки меленькие, сморщенные... За хвостик взяла – пожевала. Совсем вкуса не чувствую. Видно, когда свежие – вкусно...

VII Ариадна

Соломон газетку развернул. Бумажки отсчитывает. Евдокия глаз не сводит. «Ох, – жалуется, – сбилась я. Совсем глаза плохи. Больно много чего-то получается. Ты уж сам считай».

Собрал – подбил по краям. «Вот, восемьсот ровно».

Евдокия руку протянула. Замерла. «Сколько-сколько?..» – переспрашивает.

«Да я и сам не ожидал. Это все Геннадий. Пациентка у него оперировалась. И случай, в общем-то, несложный. А муж ее антикваром оказался. Вот и оценил...»

«Дай Бог здоровья, – Гликерия крестится. – Надо же, честный человек...» – «Кто? Геннадий?» – «Да нет, – напугалась, – этот-то, муж... Другой и обмануть мог». – «Нас, – усмехается, – редко обманывают. Врачей».

Евдокия приняла – Ариадне сует. «Поди, – шепчет, – спрячь». А сама суетится, на Соломона поглядывает. «Чаек пейте, – угощает. – Вон с райскими яблочками». Ариадна сидит, не уходит – прилипла к стулу. Евдокия уж и так на нее глянет, и этак...

Чаю напились, Гликерия провожать отправилась.

Ариадна вслед поглядела: «Что-то много очень...»

– Ох, много, – Евдокия вторит. – Теперь-то на все хватит – и на уколы, и незнамо на что... Повезло нам. А я-то, – сощурилась, – ведь сразу, грешным делом, сообразила, да не стала уж при Соломоне. Муж этот, думаю, как рассудил? Доктор сережки показывает...

Гликерия возвратилась, прислушивается к разговору.

– А антиквар-то и рад. Богатый, а так вроде и не сунешь... А тут сам будто бы намекает. Ты только, – Гликерии пальцем пригрозила, – Соломону-то – ни-ни!

– Что ж я, глупая совсем! – та обижается. – Ни словечка не скажу.

Ариадна сидит.

– Стыдно. Как будто чужое берем.

– Тьфу! – не сдержалась. – Эта – не глупая, так другая дура нашлась. Жить-то на что собираешься? А то давай, неси обратно. Нам-то чего – богатые... Вон, – в стенку указывает, – хоть телевизор продадим. Мне-то он без надобности. Это ты у нас – любительница. Сидишь прилипши.

Ариадна всхлипнула – прочь пошла.

Гликерия вслед глядит – страдает.

– Что ж ты, Евдокия Тимофевна... Или сердца у тебя нету? Она ж о своих надеется – увидеть хоть одним глазком.

Молчит, насупилась.

– А! – машет. – Делайте как знаете. Все продавайте. Вон на толкучку несите. Хоть за три рубля...

Гликерия за Ариадной пошла – к изголовью садится.

– Не плачь, – утешает. – Деньжищи его не трудом нажитые. Откуда – трудом? В блокаду, небось, промышлял. А нам их Бог послал – на бедность.

– А я, – голову с подушки подняла, – не желаю таких денег. А Бог послал, так и от Него не приму.

– Господи, – крестится. – Гордость-то смири. Нам она не по чину...

– А уж это, – говорит, – мое дело. С отцом на том свете встречусь... Что ему отвечу? В блокаду, мол, нажито, на чужой крови...

– Ох, – Гликерия сдается. – Вы умные, сами думайте. Я-то чего...

Евдокия заходит. «Лекарствами больно пахнет. Проветрить, что ли... А может, компотику налить?» – «Не хочу. – К стене отвернулась. – Ничего не хочу». – «А молочка, сырку, может? Сырку-то хорошо – мягонький. Нельзя так, Антонина. Где ж это видано – на одном шоколаде...» – «Телевизор, – шепчет, – включите». – «Господи! – Руками всплеснула. – Цельный день в него смотришь... А это откуда?» – «Сюзанночка принесла».

Квартирка склеенная, у самой кровати стоит.

«Сама, что ли?» – «Сама... И снежинок своих нарезала – вон разложила повсюду...» – «Да... – Евдокия по комнате оглядывается. – Красиво стало. Будто зима...»

«Вы, – просит, – мало ли, так про долг про мой не забудьте. Двести пятьдесят рублей осталось. Сто-то ему отдала». – «Так, – опешила, – муж ведь он будет...»

«Нет. – Глазом больным сверкнула. – До последней копейки отдайте. А телевизор Сюзанночке останется. Она пускай владеет»...

Евдокия к Ариадне пошла – дверь притворила. «Чего скажу-то...»

Та послушала. «Что ж... – кивает. – Значит, такова ее воля». – «Так копейки ж сущие останутся. Отдадим, а как дальше жить?» – «А может, – задумалась, – он и сам постесняется. Не возьмет...» – «Он-то?!» – Евдокия с места встала. Ушла.

* * *

Бабушка Гликерия в комнату заглядывает:

– Ну как ты, Тоня? Не холодно тебе? А мы подтопить решились. Плиту разожгем в кухне. Дверь оставим – и у тебя чуток согреется. Ты уж, – ко мне оборачивается, – собирай свои снежинки, а то тепло станет, растают у тебя.

Мама рукой ее поманила.

– Присядьте, – просит. – Ох, и тошно мне, Гликерия Егоровна. Помирать, а вроде и не жила.

– Так живи, – вздыхает. – Дочь у тебя.

– Глаза закрою – чаны, чаны... Болванки эти... Люди помирают, другое, небось, мечтается... Раньше я тоже мечтала: замуж пойду, муж колечко подарит. Сроду колечка не было золотого.

– Вдруг и подарит еще.

– Да уж нет, – усмехнулась. – Разве на том свете... Я вот, – шепчет, – в телевизор гляжу: хорошо там... Все у них ладно, подоброму. Не то что у нас.

– У кого это – у них?

– Не знаю. – Глаза отвела.

Бабушка Гликерия зовет:

– Поди посиди у печки. Пусть мама поспит тихонечко. Отдохнет.

«Страшно мне, Гликерия Егоровна... Навсегда ведь. А потом и думаю, а вдруг засну только? А потом и проснусь... С Григорием, – шепчет, – свидимся. Этот, – шепчет, – в квартирке, на него больно похож... Лежу, а сама представляю: стол у нас в комнате. С работы пришли, обедать садимся. Борщ, мясо с гречневой кашей... Да так увижу ясно, прямо запах мне будто слышится. А нанюхаюсь – и тошнит. Видно, душа не принимает – человеческую еду...»

«А ты, – утешить старается, – не думай об этом. Господь сам все устроит – распорядится. На том свете тихо, мирно. В месте злачнем... Со всеми, с кем расставалась, свидишься. Какие твои грехи... Это пусть они содрогаются, которым дорога в пекло».

«Я вот, Гликерия Егоровна, в коммунизме мечтала б пожить. Взглянуть хоть одним глазком... Счастливые, кто доживет». – «И-и! – Рукой машет. – Когда ж это будет?.. До войны еще обещались...» – «До войны-то так, прикидывали... А теперь точно определились: через двадцать лет. Все, говорят, по-другому будет. Стирать, и то ведь машинами...» – «Да ну! – Изумляется. – На улице, что ли? Вроде убиральных?.. Так белье ж у них перепутается. Потом не разберут».

«Нет, зачем же на улице? У себя поставят – по домам». – «Батюшки! Неужто в дом втащат? И куда ж ее?» – «Ну, – на квартирку склеенную поглядела, – может, на кухне». – «А варить где? Или, – улыбается, – скатерть-самобранка задумана? Как в сказке». – «А зачем им? – Сама серьезная, не улыбнется. – Варят-то картошку, ну суп еще... А они конфет возьмут шоколадных. Все у них будет – и не надо варить».

«Для всех, что ли?» – удивляется. «Да, – кивает, – для всех».

«Что же у них за пенсии такие, чтобы всякий день – шоколад?» – «Так не будет пенсий». – «Совсем, что ли? – напугалась. – Как раньше, в колхозах? Ох! – Крестится. – Неужто опять вознамерились? Не дай Господь дожить...»

«Совсем денег не будет. Вовсе их отменят». – «Как же это? А продукты? По карточкам, что ли? А мануфактуру?» – «Всё, обещали, свободно давать будут. Кто сколько хочет... У них, – в угол глядит, – все по-иному планируется. Я вот, – шепчет, – и думаю: заранее в телевизоре показывают. Деньги хоть и есть пока, а люди совсем другие. Я уж гляжу – не налюбуюсь: не такие, как мы. Добрые, праздничные. На производство придут – все у них хорошо. И дома по-людски...»

«Все, что ли, добрые? – Гликерия к телевизору оборачивается. – А злых куда же?» – «Так не будет их, совсем не будет». – «Совсем-то, небось, только в раю...» – «Вот, – кивает. – Я и думаю: такой он и есть – рай. Как там, в телевизоре. Раньше-то не верила. А теперь, думаю, есть. Вот бы попасть туда, мечтаю...» – «Так, – Гликерия глаза вытирает, – чего ж, попадешь...Поверь моему слову... Кому ж, как не тебе. Так и будет – как в телевизоре. Небось, не просто показывают – знают»...

Ариадна газетку смяла. Без газеты не разгорится. Сама в три погибели согнулась, спичку сует. Газетка корчится, корчится – вспыхнула. Занялось...

Евдокия кочергу взяла – огонь шевелит. Из плиты пар, поленья потрескивают.

– Ох, – раскраснелась, – как же я люблю у печки... Молодая, бывало, сяду. Гляжу в этот пламень...

– И я, – Ариадна радуется. – люблю. Отец меня ругал. «Чего, – говорит, – в огонь уставилась? Бесов тешишь».

– Да ну! – Евдокия рукой машет. – Бесы-то, неужто по печкам?..

Софья сидит, прислушивается.

– А я, – Ариадна оглянулась, – один раз видела. Вот как тебя сейчас.

– Чего это? – изумляется.

– А вот представь себе, было. Из гимназии прихожу, а у брата гости. Он в университете тогда учился. К себе к комнату прошла, а стенка тонкая... Его комната с моей рядом. Слышу: смеются!.. А тут дворник наш, Архип. Печи у нас топил. Дрова подкладывает – тоже прислушивается. «Ишь, смеются баричи... Смешно им...» Ушел. Дверцу распахнула – греюсь...

Смотрю, язычок огненный. Хрустнуло, как будто уголек выскочил. *Он* . Сам маленький, юркий. Ручки сморщенные – ладошки себе потирает... И страшно мне вроде, и любопытство берет. У ног моих крутится. Сам смеется, головку назад откидывает...

– Ну? – Евдокия торопит. – А потом-то?

– Потом? – очнулась будто. – Ничего. Исчез.

– Привиделось, может? Так Богородицу б почитала.

– А мы в те времена не веровали. Я стихи любила, а брат философией увлекался. Книги всё носил – прятал от отца. На германскую уходил – и то в сумку сунул. «Мало ли, – говорит, – затишье выдастся – почитаю...»

– Призвали, что ли? – Кочергу к стенке приставила.

– Нет. Добровольцем ушел. Георгия заслужил солдатского. Отец им гордился. В отпуск приехал – рассказывает: «Живу не в казарме, но все равно любят меня солдаты. И я к ним – с душой».

Евдокия усмехается:

– А отец?

– Мы обедали как раз. Отец салфетку кинул. «Дурак! – кричит. – Заучились в своих университетах. Нашли себе забаву – мужика! Мужик твой и себя за копейку продаст, а уж тебя – ни за понюшку!

– Ну? – Евдокия слушает. – А брат?

– Спорит: «Вы не правы, папаша. Мужик в Бога верует. А нравственность у него детская, природная – с ним добром надо». А отец поглядел и отвечает: «Я в университеты не хаживал и книжек ваших не читывал. Только сам из мужиков. Родитель мой в крепости состоял – я ж его и выкупил. И тебя, дурака, выкупил – в пятом-то году».

– Чего это? – удивляется.

– На демонстрацию он вышел. Со студентами. Отец в участок ходил – говорил с приставом.

– Откупился, что ли? Да-а, – мечтает, – хорошие были времена...

– Чай пить сели, а отец снова: «Знаю я твоих мужиков. Повидал на своем веку, и вот чего скажу: жиды-то хоть за деньги Бога продали, а наш мужик, если доведется, так – за шиш. Из куража одного или по пьяни. И хвастаться еще будет, как ловко-то... А все потому, что не верует, а боится. И страх свой за веру принимает. Вот и бьются страх с куражом. Кто кого одолеет, то и будет. Пока что, – говорит, – держит страх. А страх уйдет – все и рухнет. Да как еще посыплется: только успевай!»

А брат ему: «Страх, папаша, унижает человека. А мужик – тоже человек. Это, – говорит, – закон логики...» Отец блюдце отставил. «Эх, – вздыхает, – плохо же вам придется. У мужика одна правда: отцы-деды делали, и мы будем делать. А деды-то, может, разбойники с большой

дороги... Души губили невинные... Вот, – палец воздел, – в Писании-то сказано: отрицают слово Божие ради преданий старцев. Это, – говорит, – про них».

– Ну, – Евдокия слушает, – а брат-то?

Ариадна кочергу взяла. В печке шевелит. Пламя веселое, высокое. Жар сухой. Слезы сами высыхают.

– Расправились с ним. В семнадцатом. Волнение было в казармах. Офицеры у себя отсиживались – боялись выйти. А он: «Пойду, – говорит, – побеседую с солдатиками. Я для них не чужой». На бочку влез. «Братцы! Братцы!» – кричит. А они его за ноги... Нам ведь не сразу сообщили, потом. Отец как узнал, всю ночь не присел, так по комнате и ходил. «Говорил ему, говорил дураку», – бормочет. А наутро слег: ноги отказали. «Не чую, – говорит, – ног»...

Гликерия в кухню вышла. «Антонина-то чего говорит: деньги вроде отменят. Уже вот-вот».

Евдокия от печки оборачивается: «Как отменят?! Опять, что ли, реформа?.. Когда ж объявили? В магазин-то вчера ходила... Крупу уж всю бы смели...» – «Нет, – объясняет. – Это им на заводе рассказывали...» – «На каком еще, – за сердце взялась, – заводе? На завод-то не ходит. Третий месяц как не встает...»

«Боже мой, – Ариадна побледнела, – наши деньги... Столько не обменяют. Снова один к десяти...»

«Так, – Гликерия сказать им пытается, – это же...»

«Вон оно что! – Евдокия кочергу кинула. – Антиквар-то не взятку сунул. От бумажек пустых избавился. А мы-то... Всё. – На табуретку села. – Конец. Так. – Подняться старается. – Мешки давайте готовьте. Консервов каких взять, если чего осталось. С утра, небось, побежали. Может, хоть рыбных... Как их – эти-то – крабы...»

«Да нету, – Гликерия чуть не плачет, – никакой реформы. Вроде как будущее ихнее: рай... В телевизоре им показывают. Антонина, страдалица, и мечтает...»

«Чего!? – замерла. – Какой для них рай? Им-то известная дорога...» – «Да они ж, – Ариадна подхватывает, – и сами не верят». – «Как это? – Гликерия возражает. – В рай-то все верят. Вон на демонстрациях: тряпки свои, демоны, таскают. Я когда еще думала: заместо хоругвей».

«Так чего? – Евдокия хмурится. – Демоны, они и есть демоны. Значит – бесы. И хоругви у них бесовские». – «Так бесы-то, – торжествует, – тоже помнят про рай».

«Тьфу! – Евдокия на место села. – Кондратий с тобой хватит. Нам-то чего за дело – про ихний рай?.. Или нет, – прикидывает, – или сходить все-таки? Дойти-то недолго». – «Так семь часов, – Гликерия говорит. – Только что пропикало. Закрыли магазины. Разве наверх, к Карповне подняться?..» Евдокия как зыркнет: «Совсем с ума сошла! Скажут, слухи им распускаем...» – «Так я, – говорит, – вроде как сахарок кончился. Кружечку пустую возьму...»

Евдокия подумала. «Ладно, – решает. – Только ты иди, Ариадна. Эта-то опять чего ляпнет».

«Вот, – возвращается, полную кружку предъявляет. – Надежда Карповна отсыпала». – «Слава тебе, Господи! – Евдокия крестится. – А мы уж ждем-пождем. За смертью тебя посылать. Ладно, девятый час скоро.

Ужинать пора».

Картошку слила.

«Не будет, – говорит, – для них раю. Пусть и не мечтают. А ты, – к Гликерии обращается, – на будущее тебе. Сперва разузнай как следует, а потом уж людей пугай». – «Так я, – оправдывается, – и сама не поняла. Машины у них еще, белье будто бы стирать. Говорят, в кухне поставят. Не знаю, как и втащат». – «Нам-то чего? – Евдокия картошку разминает. Маслицем постным полила. – Это у начальства. У них квартиры большие. Приспособятся».

«Ты, – Гликерия глаза опустила, – ежели заведет про этот рай, согласись уж с нею. Пусть напоследок порадуется. Господь-то правду видит – простит...» – «Дак поучи меня... – Евдокия тарелку отставила. – Что я, зверь какой?.. Понимаю»...

* * *

Бабушка Гликерия одеяло подоткнула – села.

– Ох, жизнь-то какая жестокая... Радуйся, пока мала. Вырастешь, кто ж его знает... Как соберется-сложится?.. Ладно. – Глазки вытерла. – Всего уж на этом свете было. Это злыдни живут – не знают. А другие всё-ё понимают. Только молчат...

Платок на голове пригладила. Стала косички расплетать.

– Беспамятные мы с тобой. С утра совсем позабыли. А тыто? Могла бы и напомнить. Принесла гребешок: расчеши, мол, бабушка. Теперь-то все спуталось... Ну ничего. Разберу по прядочке. А ты терпи да слушай...

Как расплачется душа, как растужится. Перед Спасовым стоит перед образом. Как же трудно ей, душе, с белым телом расставаться – в даль небесную уходить, да за три горы. А за первой-то горой там смола кипит – смола черная да липучая. Али хочешь ты, душа, во смоле сидеть? Она плачется, отбивается.

Как услышал Господь, сам расплакался. Посылает навстречу двоих ангелов. Вот идут они дорогой небесною – повстречали ее, взяли под руки. Что ж ты, спрашивают, душа, мимо раю прошла? Мимо раю прошла – не заглядывала...

Опечалилась она, клонит голову. Обращает речь к божьим ангелам. Я б и рада к вам в кипарисный рай. Да грехи мои нераскаянные. Чем я, грешная, оправдаюся? Окаянная, чем порадуюсь?

Отвечают ей божьи ангелы. Ты не плачь, душа, оботри слезу. Кабы нам судьба на земле прожить, уж и мы б, небось, грех изведали...

* * *

...Ручеек мелкий. Бежит, играется, только вода больно мутная. По мосточкам сошла: ничего, думаю, напьюсь. Только нагнулась, глядь, глазам своим не верю. Дно-то колечками усыпано. Изумилась, зачерпнула горсть. Сейчас, радуюсь, выберу драгоценное, золотое... Ладонь раскрыла, а они как порскнут. Прыгают, прыгают – будто лягушки. В детстве-то, помню, сунешься под корягу, а там гнездо. Нашаришь, полной горстью ухватишь, а они порскают, порскают... Что же это за сторона такая, если кольца у них – взамен лягушек?..

Голову подняла: гора высокая. А на горе башня. До самого неба

дотянулась. И радио, слышу, играет – громко, по всей земле.

Так это ж Москва, догадываюсь... И радостно мне стало. В Москве-то доктор живет. Сюзанночку от немоты излечит. Только найти его надо – поспрашивать людей. Мосточки сухие, гладкие. Иду, по сторонам оглядываюсь. Вижу, женщина приятная. На Зою Ивановну похожая.

Пошла к ней.

Так и так, советуюсь. Вот она меня выслушала и говорит: а где же ваш ребеночек? Так дома, отвечаю, осталась. Она ведь в садик не ходит, все с бабушками сидит. Это я, говорю, поехала – выходить замуж. А женщина эта обрадовалась. Что ж вы, говорит, сразу не признались? Растерялась я, отвечаю. И жених мой запаздывает – видно, заблудился. Тут она засмеялась: не может быть! Одна к нам дорога: не собьешься. Вон, указывает, ворота. Через них и въезжают.

Пригляделась: и вправду ворота, только стеклянные какие-то и без створок. А зачем нам, спрашивает, створки? Ворота наши особые. Сами собой отворяются. Для тех, которые верят.

Гляжу: машина въезжает. Зыбится, зыбится. Проехала, снова застыло. И машина тоже особая – без колес. Так это, объясняет мне, стиральная. Раньше-то обмывали покойников, а теперь в машинах стирают...

А как же, спрашиваю, болезнь злокачественная? Так выстирали ее, утешает. Нет у нас больше болезней.

Эх, догадалась, Сюзанночку бы с собою... А передничек ей собрать не позволила, из маковых лоскутков. Дура я, дура. Смерти напугалась. А смерть-то веселее жизни...

Слышу, гул подземный. Гора ходуном ходит. Вскрикнула. Глаза открыла. Гликерия надо мной.

«Вставай, – будит, – пора. Скоро машина приедет. Чего наденешь-то? Юбку подавать?»

«Нет, – говорю, – платье маковое. Его и подавайте...»

В кухню выходит – объявляет: «Утюг ставьте. Новое платье приказала – не поедет в юбке»...

Только глаза закрыла, снова Гликерия зовет. «Вставай, – торопит, – подымайся. Чулки вот твои и трико».

Натянула кое-как – за платье взялась. Пуговицы расстегиваю, а пальцы чужие. Еле-еле сладила – напялила через голову. Гликерия поглядела – всхлипнула. «Пойду, – глаза отводит, – туфли твои погляжу. Тряпочкой протереть»...

– Не могу, – жалуется. – Совсем исхудала она. Как смерть бледная – краше в гроб кладут. Будто мертвую ее обряжаю. Ты уж сходи, Ариадна.

Ариадна заходит – гребешок принесла. «Давай, – говорит, – Тонечка, волосы тебе причешем». Сама голову клонит – не глядит. По волосам провела – больно. Кожа на голове изболевшая. «Вы уж, – прошу, – разберите по прядочкам». – «Так, – слеза у ней набежала, – теперь не разберешь». – «Ладно, – киваю, – и не надо. Платком повяжусь. Пусть уж как есть».

В прихожую вышли. Евдокия в спину меня подталкивает. Гляжу, мужчина молодой, приятный. «Не беспокойтесь, – говорит. – Мы с Антониной Дмитриевной сами справимся».

По лестнице идем – поддерживает. Добрый, думаю, обходительный. До машины довел. «Куда, – спрашивает, – сядете? Может, лучше на заднее сиденье?»

Мотор шумит, шумит... Тепло мне, празднично. Снова женщина давешняя. Идет навстречу. Что, спрашивает, дождались жениха?

Тут я и спохватилась: а вдруг живой он еще? Я ведь не знаю в точности и на суде не была. А она смеется: да вон он, с той стороны спускается. За вами идет...

Сердце-то как стукнет: он, Григорий. Идет, за перильца держится. Глаза черные, веселые. Совсем как живой.

Приблизился. Я, говорит, подарок тебе принес. Ладонь раскрыл, а там тряпочка. Вот он ее разворачивает, а в ней палец мой отрезанный, а на нем золотое кольцо...

«Задремали, Антонина Дмитриевна?» Глаза открыла – мужчина ко мне обернулся: «Приехали уже. Выходим».

Из машины выбралась – Николай навстречу. Под руку меня взял. Иду, а сама думаю: неправда это. Свадьба-то моя в другой стороне...

Мужчина сбоку подходит: «Мало ли, голова закружится, так вы мне знак какой-нибудь подайте. У меня с собой лекарство».

В книжке расписалась. Шатнуло меня. Не помню, как и в машине оказалась. Ну все, думаю. Слава тебе, Господи... Сейчас и башня покажется... Там моя жизнь начнется, там и муж мой...

VIII Соломон

Евдокия открывает. «Батюшки, – напугалась, – совсем белая. Уложить бы ее».

Глаза темные, впавшие. Будто грифелем нарисованные. Геннадий Павлович под руку держит. «Пришел Соломон Захарович?» Здесь, кивают, пришел.

Уложили, из комнаты выходит. «Схожу, – говорит, – поздороваюсь и побегу на работу». – «Так, – Гликерия приглашает, – может, покушаете с нами? Стол-то накрыли». – «Спасибо, – отказывается. – У меня дежурство в больнице. И так, боюсь, опоздал. А вы, – на дверь указывает, – не беспокойтесь. Это укол так действует. Поспит – отойдет».

Николай тут же стоит, с ноги на ногу переминается. Ариадна к нему. Манит рукой. «Пойдемте, – просит, – Николай Никифорович. Дело к вам есть». Евдокия глянула – спохватилась: за Геннадием Павловичем пошла.

Софьюшка в прихожую выглянула. Гликерия рукой машет: скройся, мол. Не до тебя.

Холодно мне, холодно. И голова будто стеклянная. Где ж это я, думаю?.. Снежинки кругом изрезанные. Вспомнила... Свадьба у меня.

Евдокия к Гликерии склонилась.

– Ну все, – говорит. – Отказался он. Я нарочно пошла, завела при Соломоне. Он же учитель ему: при нем, небось, стыдно. Много, мол, вроде денег получается, за эти сережки. Антиквар-то другое имел в виду: вас отблагодарить.

Гликерия на дверь косится.

– А он?

– Покраснел. Отказывается. Быть этого, говорит, не может. Так ни копейки и не взял.

– Ну, и слава богу, – Гликерия радуется. – Не может, так не может. Вот и скажем Ариадне. Душа-то ее и успокоится. Переживала больно.

Ариадна возвращается. Поговорила с Николаем.

– Ну? – к ней приступают. – Отказался?

– Взял, – стыдится. – Все, до копеечки. Пересчитал даже.

– И что, – Евдокия усмехается, – сошлось у него? Ладно, – итог подводит. – После об этом. Теперь свадьба у нас.

По рюмкам разлили. Жених с невестой будто рядышком сидят. Софье тоже поставили – водички с вареньем.

Ариадна на Соломона поглядела: «Бужу, бужу ее – отказывается. Вы уж, говорит, без меня». – «Так что, – Евдокия рюмку подымает, – поздравляем вас, Николай Никифорович, с законным браком». А он водки выпил – отставил.

Гликерия к Евдокии склонилась. «Прибор бы убрать пустой. Нехорошо как-то», – шепчет.

Жених себе налил. Снова выпил. Другие пригубили.

«Вы, – Евдокия винегрет подвигает, – закусывайте, Николай Никифорыч. Вот селедочка еще». На вилку подцепил – усмехается: «Да не опасайтесь, Евдокия Тимофевна. Чего обещал, все выполню. Не откажусь». – «Господь с вами, – Гликерия закраснелась, – разве ж мы...» – «Я, – сам на Евдокию глядит, – человек честный. И слову своему хозяин. Ну, – к Соломону повернулся, – где на ребенка бумаги? А то давайте, несите – все враз подпишу».

«Полно вам, – Евдокия урезонивает. – Свадьба сегодня. Угощайтесь». – «Сва-адьба. – Жених-то пальцами вертит. – Может, и свадьба... А блинков часом не напекли?» – «Да какие ж блинки, – Гликерия торопится, – картошечка. В подушках у нас завернутая, чтобы не остыла. Принести, может?» – «Так теперь-то, – третью рюмку выцедил, – чего уж... Несите».

Евдокия на Соломона глянула: «Там рецептик у нас, Соломон Захарович. Вы уж взгляните, а то самим не разобрать». А сама глазом ведет: выйдем, мол...

В коридор вдвоем вышли. «Ну, – Евдокия спрашивает, – когда бумаги?» – «Геннадий Павлович хлопочет. Обещали недели через две». Евдокия на дверь оглядывается: «Скорей бы... Вон чего делается. Фордыбачит. Не ровен час, выкинет фортель...» – «Ну выпил человек лишнего. Тоже переживает... Надо бы, – глаз прищурил, – с переездом его поторопить».

Евдокия стоит, кивает: «Поторопим, теперь уж поторопим. Комнату ему освободили. Пусть живет...»

«Ну, – Николай повеселел, оглядывает, – за невесту с женихом выпили. За вас теперь полагается... Пусть ваша жизнь будет богатая да счастливая. Вот, значит, за это».

К Соломону потянулся – чокнуться. «Музыку бы хоть какую, – оглядывается. – Жалко, музыки нету. С ней бы повеселее. Я, – глаз

кулаком трет, – разве думал, что жизнь-то обернется... Вы ведь как, небось? За комнату, мол, согласился... А нету этого. Чего она мне, комната?.. Так, по человечеству пожалел». – «Да кто ж вас винит...» – Гликерия сокрушается. «А может, – не слушает, – и за комнату... Разве разберешь...»

Соломон Захарович подымается: «Пожалуй, пойду я потихоньку». – «Ишь, – Николай пальцем ему грозит, на стол налегает, – вот ты ведь не уважа-аешь меня... Про себя-то как думаешь: скрутили, мол, дурака, загнали в угол. А я – не-ет. Я ведь сам все решил. Самостоятельно. Потому что по правде это. По человеческому закону. И никто мне тут не указ...» – «Перестаньте, – Соломон морщится. – Никто вас ни в чем не обвиняет». – «Ишь ты! – еще пуще страдает. – А за что ж меня обвинять? Разве я какой обвиняемый? Нету моей вины...»

Гликерия с места поднялась. «Кому, – оглядывается, – картошечки? Остынет».

«Вот ты, – Николай ее не слышит, – жизнь вроде прожил. И умный мужик, еврей... Да, – рукой машет, – не обижайся. Я ж не в обиду про это – так, уважительно. Но, – палец поднял, – за правду. Вон предки твои Христа, Бога нашего, распяли. А Бог – ничего. Простил...» – «Неужели? – Соломон усмехается. – Откуда ж у вас такие сведения?» – «А как же? – Брови морщит. – Ум вам оставил – оставил. Хитрость еще. – Пальцы загибает. – И вместе, друг за дружку держитесь. У одного беда – все на помощь бегут. Не то что, – фыркает, – мы...»

«Чего это? – Евдокия губы надула. – Мы-то звери, что ль, какие?.. Тоже, небось, люди». – «Не-ет, – пальцем грозит. – Мы иначе... Друг дружку ох как боимся». – «Вот, – Евдокия соглашается. – И есть за что».

«Удивляюсь я вам, – Соломон глаза опустил. – Вы же молодой человек еще, а речи, вы уж простите меня, средневековые. Как будто и в школе не учились...» – «А чего? – удивляется. – Школа-то ни при чем. В школе одному учат, а жизнь по-другому окорачивает...»

«Чайку-то, – Гликерия вспомнила. – У нас пирожок еще – с капустой».

«В школе, – Соломон волнуется, – правильно учат. Все нации равны». – «Как же! Равны... – Прищурился. – Вот ты, если б выбирать, небось, тоже русским бы родился... А и правильно. Несладко вам, евреям».

«Русским, – Евдокия тарелку отставила, – зато ох как сладко... Прям рот не успеваешь отереть – от сладости этой».

«Русские, – лоб наморщил, – в войне зато победили». – «Да-а, – Евдокия тянет. – Только-то и радости одной». – «А я вот, – Николай на Соломона глядит, – все равно на вас удивляюсь. Умные-то вы умные... И за советскую власть – горой. А не любят вас. А нас по всему миру любят – уважают. В телевизоре-то... Хоть куда приедем... Хоть вон в Америку. Встреча-ают...»

«А это, – Евдокия не уймется, – издалека любуются. Вот бы они тут пожили – среди нас». – «А вот и нет, – смотрит. – Европу ихнюю мы освободили. Без нас-то что – так бы и жили под немцем. Темно тут... – воротник на шее раздернул. – Занавески б, что ли, раскрыли. Хоть бы свет какой...»

«Так в кухне ж сидим. – Гликерия оглядывается. – Какие ж в кухне занавески? А-а, – на окно показывает. – Это она снежинками своими заклеила. Украсила к свадьбе».

«Украсила... – Горло чешет. – Ну чего ж, пу-усть... Ребенок. Разве чего

понимает... – с места встал, пошел. Снежинку ногтем сковыривает. – Ишь, – удивляется, – и как крепко-то. Намертво приклеилось. Видно, цепкий клей...»

«Вас послушать, – Соломон сидит, насупился, – как будто русские одни воевали». – «Ну, – хмурится, снежинку ковырять бросил, – конечно, не одни. И другие многие. Только русские-то – главные. Товарищ Сталин как про это говорил... А ты, – снова рюмку себе налил, – объясни вот мне. Вот, говорю, евреи. Умные-то вы умные – а на смерть шли как овцы. Сколько ваших погибло?»

Молчит Соломон.

«А я отвечу. Мил-ли-он. А почему? А потому, что это супротив нас вы умные. А против немцев – пшик! Против немцев-то мы одни в силе. Вон оно...»

«Господи. – Евдокия за щеку взялась. Зуб опять ноет. – Да где они, немцы эти? Я вон век прожила, ни одного не встретила. Так и помру, видать».

«Немцы, – объясняет, – народ основательный. Отец воевал – рассказывал. Вот бы пример с кого взять... Все у них по уму». – «Нам бы, – Евдокия морщится, – супротив себя в силу войти. Вот бы дело».

Соломон о клеенку оперся: «Пойду я».

«Ты чего? Никак обиделся, Захарыч? А не на-адо на правду. На правду грех обижаться. Вот скажи мне про русских, всю правду скажи. Ни в жизнь не обижусь. Ну, – налегает. – Ну?»

«Не знаю, – головой покачал, – всей вашей правды». – «Вот то-то. И никто ее не знает. Даже вы – евреи. Потому что русские – сами по себе. Особые. Таких-то нету больше, хоть по всей земле пройди».

«Я, – Соломон лоб вытер, – одно вам скажу. Христос ваш воскрес, а жена моя не воскреснет...» – «Вот-вот, – Николай подхватывает. – А была бы русская – в рай бы попала. Христос для русских приготовил».

«Вы бы, – Ариадна страдает, морщится, – картошечки поели... Чем рассуждать...» – «Отчего же. – Соломон усмехнулся, останавливает. – Может быть, Николай Никифорович и прав. Христианство – религия милосердная. Был бы русским, мог бы надеяться. А так...»

«Батюшки, – Гликерия спохватилась, – ребенка-то укладывать. Ишь, бедная, совсем ее сморило. Пошли, – зовет, – голубка». – «И идите, – Евдокия кивает. – Посидела, попраздновала... Разговоры лишние слушать»...

* * *

Пирогом с кухни тянет. Глаза открыла. Водички бы глоточек... В горле совсем пересохло. Потянулась, сняла марлечку. Только глотнула, обратно выплюнула. Видно, не принимаю...

Мать-то как говорила: кипяченая вода – мертвая. Ни в жизнь не напьешься. Чистой бы, мечтаю, напоследок. Хоть глоточек бы, да живой...

На локте поднялась, а ног не чувствую. Позвать бы... Так не услышат...

Голова плывет, кружится... Мать свою вижу. Рядышком села, руки мне сложила. А я будто маленькая еще. Губами шевелю: расскажи, прошу, сказку. А она платок на голове пригладила. Спи, шепчет, закрывай глазки...

Собрался ? Ворон в тридесятое царство. Всю ночь летел. А степь-то широкая, бескрайняя. Снегом белым засыпанная: все белым-бело.

Подлетает и видит: перед ним ворота кованые, а в воротах камень пудов в полтораста. Огляделся. А за камнем – два колодца. По сторонам его вырытые, и вода в них – чуть ни через край. Справа живая, слева – мертвая. Сел на камень, призадумался. Выбрал с мертвой.

Корку ледяную склюнул, набил полный зоб. Обратно лететь, а вода мертвая – тяжелая. Встала в зобу. Перемогся кое-как, взмыл под облаками. Летит, а сам думает: дай спущусь пониже, может, теплее будет – легче лететь. Крылья сложил, через плечо вниз поглядывает. Видит: поле. А по ? полю кости человеческие. Все ими устлано, куда ни глянь.

Обрадовался да как каркнет. Вода изо рта и брызнула. Снежинками белыми рассыпалась. На землю пала: все косточки и срослись.

Ползут они по полю. Встать бы, думают, да руки-ноги не слушаются. Огрузли, видать. На Ворона снизу вверх поглядывают, плачут слезно... А он щеки надул, клювом железным щелкает: вот, клекочет, и ползайте. Нет у меня для вас живой воды...

IX Внучка

Когда падает снег, я всегда вспоминаю бабушек. Стою у окна и думаю. Мои бабушки ничем не болели, просто ушли в один год. Сначала Гликерия, потом – Ариадна. А бабушка Евдокия дожила до осени – я уже училась в Мухинском на первом курсе. Тогда мы жили одни.

Семье отчима дали двухкомнатную квартиру, но к нам никого не подселили – в той комнате сделали ванную, и бабушки еще успели помыться по-человечески. Раньше им приходилось в комнатах – в кухне Зинаида Ивановна не позволяла, а до бани им было не дойти. Я грела ведра, выносила грязную воду, а Зинаида кричала, что мы разводим сырость, хотя я подстилала клеенку и никогда не сливала в раковину – всегда в туалет.

Последнее время у них начались мозговые явления. Бабушка Евдокия радовалась, что всех перехитрила и теперь я имею право переехать к Зинаиде, ведь я там прописана: квартиру дали на троих. Мне не хотелось ее расстраивать. Я-то знала, что Зинаида меня не пустит. Она и раньше заявляла: всякую приблуду селить – никаких метров не хватит. А бабушка Ариадна грозилась найти на нее управу: говорила, мир не без добрых людей. Заводское начальство заступится, а если надо, дойдем до самого Калинина, а Зинаида только смеялась: давно, мол, пора...

У бабушки Ариадны тоже все путалось: ей казалось, они еще живы – и ее внуки, и моя мама, и даже Калинин. Шептала: там в телевизоре...

Помню, как я заплакала и пошла к Зинаиде Ивановне, чтобы она оставила их в покое, обещала, что никуда не перееду. А Зинаида опять смеялась: «Так попробуй... Думаешь, напугала? У меня авторитет на заводе. А ведьмы пусть только сунутся, увидишь, как перья полетят...»

Когда все умерли, ко мне пришли из жэка и объявили, что на нашу квартиру выдан ордер и я обязана выехать по месту прописки: в течение трех дней. Тогда отчим посоветовал поговорить с Зинаидой, сказал, что его она не послушает, а я должна попробовать: все-таки она – председатель профсоюза, а мама столько лет отдала заводу, вдруг да и предоставят комнату – хоть маленькую, хоть в подвале. После похорон я

совсем растерялась, а Зинаида ответила, что лишних комнат у завода нет.

Если бы не училище, я вообще осталась бы на улице, ведь у меня была ленинградская прописка, но мне все-таки предоставили общежитие. Помог мой французский.

Я пришла в деканат подать заявление, а они как раз получили письмо из Франции, вот я и предложила свою помощь. Когда французы приехали, меня снова вызвали с занятий и попросили переводить. У них была переводчица, но она не все понимала, особенно быструю речь. Сначала я тоже немного плавала, но потом приноровилась. А их руководитель подошел ко мне и говорит: «Удивительное сочетание: юная мадемуазель и старинный язык». Я объяснила, что французскому меня учила бабушка. А он улыбнулся: «Теперь понятно».

Сперва я жила в общежитии, а потом встретила Гришу, и мы снимали комнату: его родители нас не пустили, не хотели, чтобы я жила с ним. Его отъезд обошелся нам дорого, у меня совсем не осталось денег. Вот я и моталась по чужим мастерским. Пока не купила эту квартиру. В то время мои работы стали продаваться. Сначала задешево, потом дороже и дороже, особенно после того случая, когда одну приобрел Русский музей. Она даже висела в экспозиции, но потом ушла в запасники. Кое-что осело в частных собраниях – у нас и на Западе. Теперь мне трудно проследить судьбу своих картин.

Я сделала ремонт и перевезла мебель – все, что осталось от бабушек. Это отчим придумал все вывезти и спрятать у него в деревне: после смерти родственников остался пустой дом. Об этом его жена не знала, ведь дом никак не оформляли, да ей он был и не нужен. Что-то пришлось реставрировать, но теперь в моей квартире нет ничего нового: ни шкафов, ни диванов, ни кресел.

Когда мы встретились на выставке, Гриша снова звал меня с собой, говорил, что здесь ничего путного не получится, ведь жизнь устанавливается не по смыслу, а по уровню людских душ. Я отказалась, потому что подумала о бабушках. И о маме. Я уеду, а они останутся… Как бы они остались без меня?

Теперь я понимаю, что Гриша был прав. Сейчас я бы с ним поехала, но об этом говорить поздно.

Иногда я стелю камчатную скатерть с розами и представляю, как мы садимся вокруг стола – и отец, и мама, и бабушки. Это для них я купила такую большую квартиру. Чтобы у них был дом, в котором больше не страшно, потому что это – наши комнаты и их никто не отнимет.

Теперь я всегда с ними, даже если они меня не видят, как будто между нами глухая стена. Но я все равно хожу. Сяду, посижу и снова встаю к мольберту, чтобы, превращаясь в другую, памятливую девочку, слушать их голоса.

Недавно мне попался старинный стих, который называется «Голубиная книга», хотя это и странно, ведь там нет ни слова про голубей. В этой книге есть история про Кривду и Правду, и, когда я ее читаю, мне кажется, будто я всё помню. Я узнаю? слова, которые меня тревожат, и надеюсь найти образы, чтобы написать эту картину. А иначе зачем я стала художником: спала и проснулась?..

Восходила туча грозная. Приносила книгу голубиную. Не малая она, не великая – двадцать саженей в поперечине. Вот сошлись христиане

православные, поглядели на книгу – призадумались. И никто к ней толком не приступится, и никто к ней, Божьей, не приша ?тнется.

Тут выходит вперед Володимир-князь, обращается к Давыду Евсеичу:

«Ой ты, гой еси, наш премудрый царь! Прочитай нам книгу голубиную. Разъясни про русское житье-бытье. Отчего у нас солнце красное? Отчего у нас ветры буйные? Отчего у нас ум повертывается? Отчего у нас горьки помыслы? Отчего у нас кости крепкие? Отчего у нас кровь-руда бежит? Так и льется из жил – все не выльется...»

Отвечает ему мудрый царь Давыд:

«Не умею я ваших книг прочесть – не постиг, видать, русской грамоты. Тяжела она эта грамота, да стократ тяжель книга Божия. Ни в руках сдержать, ни умом объять. Расскажу, что знаю по памяти – по памяти, как по грамоте.

Солнце красное – от лица Христа, Бога вашего, Царя Небесного. Ветры буйные – от Святого Духа. Кости крепкие – от каменных гор. Кровь-руда у вас от сырой земли. Так и бьет из жил, все не выбьется...»

Поклонился ему Володимир-князь:

«Ой ты, гой еси, мудрый царь Давыд! Не постигнул ты наших русских букв, да постиг беду нашу смертную. Разъясни, Псалмопевец, грусть великую – грусть великую, неизбывную. Расскажи, что знаешь, по памяти – по памяти, не по грамоте».

Вопрошает его мудрый царь Давыд:

«Ой ты, гой еси, Володимир-князь! Ты поведай мне вашу грусть-тоску. Рассужу, как сумею, по памяти – по памяти, не по грамоте».

Отвечает ему Володимир-князь:

«Ой ты, гой еси, Солнце русский князь! Ты скрепи свой дух – сердце буйное. То не звери на бой собралися, то не лютые друг к дружке сбегалися. Это ж Кривда с Правдой сходилися да промеж собой дрались-билися. Кривда Правду одолеть старается. Только Правда-то у вас лютее лютого. Победила Кривду, переспорила. И отправилась прямиком в небеса, к самому Христу, Царю небесному. И воссела одесную Отца – подле Духа Святого, рядом с Матерью. А Кривда по земле пошла – по всему народу христианскому. От Кривды земля колеблется, а народ-то молчит, терзается. Вот и стал народ от Кривды неправильный – неправильный да злопамятный. А Правда лютая в небесах сидит. На грешну землю не спустится...»